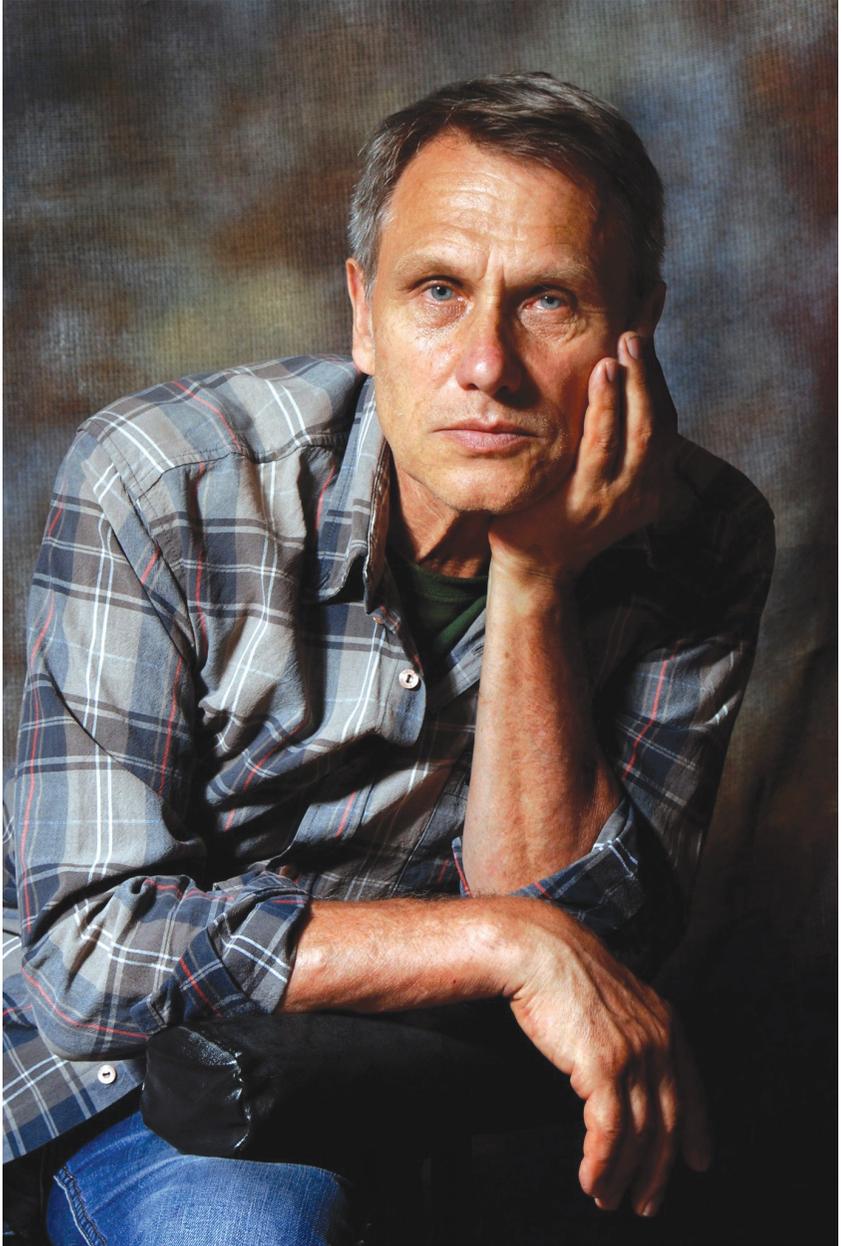


Владислав Китик

**ГОЛУБИНЫЕ
ДВОРИКИ**



Владислав Китик

ГОЛУБИНЫЕ ДВОРИКИ

Проза

Одесса
«Астропринт»
2023

УДК 821.161.1(477)-3
К45

Фото

Степан Алесян

Корректор

Елена Симич

Китик В.

К45 Голубиные дворики : проза / Владислав Китик. —
Одесса : Астропринт, 2023. — 84 с.
ISBN 978–966–927–931–6.

«Голубиные дворики» — первая книга прозы одесского автора Владислава Китика. В неё включены 11 рассказов и одна небольшая повесть. В основу положены воспоминания, услышанные от других истории, ситуативные события разных периодов времени и, конечно, жизненный опыт автора. А также ракурсы его наблюдений и мировоззрение, заострённое на вопросах человеческих отношений. Выделение в природе общения таких сторон, как человечность, приязнь, любовь к ближнему, составляет главную задачу книги. Только в этой сфере можно прийти к тому равносному состоянию, которое люди называют счастьем.

УДК 821.161.1(477)-3

ISBN 978–966–927–931–6

© Китик В., 2023

КОТ СПУСКАЕТСЯ С НЕБЕС

Рассказ

Люди уезжали от беды, впопыхах собирая вещи, готовые перенестись из одной неизвестности в другую. Отдавали последние наказы родственникам, нервно убеждали, что деньги лежат на счету. Потом заискивающе звонили друзьям, у которых могли остановиться до окончания этой жуткой военной эпопеи.

Брали ровно столько, сколько может уместиться в багажнике автомобиля. Вчерашние четвероногие любимцы путались под ногами и мешали сборам.

Иногда можно было увидеть, как какой-нибудь кот долго трётся о дверной косяк покинутого хозяевами жилища. И, не наученный подъезжать на свалке, как его уличные собратья, голодно мяукает. И тогда разве какая малышка с бантиками или сердобольная старушка насыплет перед ним горсть сухого корма. А дальше брести покинутому зверьку хоть куда.

Кот, объявившийся в городском ботаническом саду, был, видимо, как раз из таких, не помнящих родства. Он был пушистый, дымчатый, с лёгким голубоватым отливом, не в пример закалённым дворовым котам с жёсткой, щетинистой шерстью. Лучи красиво наполняли светом его изумрудные глаза. Видимо, он не знал, что встреч с задиристыми дворнягами, облюбовавшими свою вотчину, следует избегать. Два караульных пса бросились на непрошеного гостя с залившимся лаем. Внезапная опас-

ность пробудила у кота инстинкт выживания, и он в два прыжка подбежал к сосне и, как матрос по вантам, взмыл на высоту недосыгаемости и примостился на сучке.

Сучок был коротким, как обрубок, и за него едва можно было зацепиться, не то, что усидеть. Кот прижался к шершавой коре, поджал под себя лапы и замер. Пошевелиться, чтобы устроиться поудобнее, у него не было возможности. Кот сидел на пятиметровой высоте, таращил свои изумруды и жалобно подвывал.

Собак, конечно, отогнали. Но как обнадёжить животное, скованное страхом? Прошёл день, миновала ночь. Кот сидел в оцепенении и не смел спуститься.

— Смотреть на него жалко, — ворчал сторож Василий. — Говоришь, уже же сутки не пьёт?

— Ну сидит и сидит. Сам залез — сам пускай и слезает, — пробасил сменщик, сдававший дежурство.

— Может, вышку вызвать из «Зелентреста»? — его напарник авторитетно шмыгнул носом.

— Ну да, ради кошака вызывать спецмашину! Да ты знаешь, пан добродий, в какую это выльется копеечку? — урезонил старшой.

— Трусишка, слезай, — пропела практикантка Тата. Но кот фыркнул, и спускаться не стал. Он явно не признавал насмешливого обращения.

— Так что же делать? — почесал затылок Василий. Но вопрос растаял на ветру. Все разошлись по своим делам.

С темнотой на небе высыпали звёзды, было ясно и холодно. Сосна качалась от ветра, как метроном, отсчитывая неуступчивые минуты ночи. Василий вышел из своей сторожки и осветил фонариком. Луч выхватил из густой смолистой тени пушистый комок. Блеснули надеждой изумрудные глаза верхолаза.

— Эх, бедолага, — пробормотал сторож и плотнее закутался в ватник. — Ладно, держись! Утром что-нибудь придумаем.

Утром пришел директор и дал добро на спасательную предприимчивость. Было решено достать кота с выдвижной лестницы. Её притащили рабочие со склада.

В предвкушении зрелища, подняв головы, в сторонке судачили садовницы.

— Котик видно, что домашний. От люди, сами говорят, животное член их семьи. А с собой не берут, бросают.

— Ну, а если с собой не могут взять! Что ж тогда?

— Тогда бы укол сделали. Усыпили бы и всё.

— Да как это, ведь жалко!

— А так не жалко?

Между тем на лужайке под соснами уже царила оживленная суэта с советами, шутками и досадным ворчаньем тех, у кого не ладилось со сборкой дюралевых секций лестницы. Наконец, её смонтировали, подняли и приставили к стволу. Конец её почти доставал до сучка, где дрожал кот.

Понимание, что нужно будет добраться до самого верха и стать на последнюю балясину, удерживаясь за ствол, сразу поубавила решимости у спасателей. Вызвался Федя. Ему, как самому молодому из работников, охотно уступили право подняться на верхотуру. Он осторожно добрался до конца лестницы. Уперся в башмаками в жесткую поперечину, обхватив левой рукой сосну, и свободной рукой потянулся к коту ладонью. Он уже почти коснулся настороженного серого комка, как вдруг из кустов рывкнул пес Полкан. Кот стремительно бросился вверх по стволу, цепляясь когтями и роняя ошметки сухой коры. Страх загнал его почти на самую макушку, где мохнатилась, как зубная щетка, горизонтально отстоящая ветка.

— Та, твою!.. — только успел выдохнуть Фёдя. Кот, заняв удобную развилку, с обличающим прищуром смотрел на группу спасателей, сгрудившихся с задранными головами на земле у подножья хвойного великана.

Расходились молча. Удручённо как-то, нехотя. Ни умоляющие «кис-кис», ни розовые дольки докторской колбасы не могли заставить кота снизойти с небес. Он сидел в обрамлении сосновых терний одинокий, как философ, отрешившийся от всего земного. А, может, в горьком безмолвии терпел собственную покинутость и вынашивал свое отношение и к людям, обманувшим его, и к этим, неловко пожалевшим. Будто клал на весы значимости необходимость и мужество, снисхождение и милосердие и оттуда, сверху, давал свою кошачью оценку неоспоримой правде жизни.

Скоро к непутевому зверьку пропал интерес. Работа и дела затанули людей в свой водоворот.

Сгустилась осенняя ночь.

— Как он выдерживает? Четвёртый день не пьёт, — удивлялся Василий, у которого вновь подошла очередь заступать на смену. Он так же, как в прошлый раз, дотянулся лучом фонарика до кошачьей обители, и помянул по-человечески: «Слазь, да слазь же, дурень. Нет собак, убежали на другой конец сада. Не бойся. Слазь! Хоть воды попей».

Обращаться в пустоту — как с зеркалом разговаривать. Сторож повернулся, чтобы уйти. Но тут послышались странные ломкие звуки. Кот, обхватив лапами ствол, впиваясь когтями в сосновую мякоть, упрямо спускался, покидая древесный плен.

— Решился-таки! Ну, молодец. Давай, давай, Дымок, потихоньку, — просил сторож сдавленным шёпотом, за-

таив дыхание, как болельщик, боящийся спугнуть миг до желанного гола. — Ну же!

Наконец, кот мягко спрыгнул на траву. За время, проведенное на сосне, он исхудал, шерсть потеряла блеск и лохмами облепила гибкое тельце. Он полностью соответствовал обидному отзыву о котях: «драный». Теперь Дымок не убегал, а только изредка сопел, будто после тяжёлого труда.

Василий пододвинул к нему плошку с водой и долго наблюдал, как кот лакал отраженную в миске луну. Потом бросил ему несколько куриных кусочков, оставшихся от ужина.

Кот бросился к пище, но внезапно грациозно замер, а затем подошёл к Василию и потерся мордой о его ноги. И лишь потом — стал есть.

— Неужели благодарил? Нет, точно благодарил! — возбужденно рассказывал потом об этом сторож.

А кот мягко, без шороха прошел по сухой траве, одним сильным прыжком перенесся на цоколь ограды. В свете уличных фонарей опять засветилась дымчатая шерстка.

— А, может, тебя домой к себе взять? Пойдешь? — задумчиво произнес Василий.

Но кот мягко проскользнул между железными прутьями. Еще раз оглянулся, словно вспомнил чьи-то руки, некогда родные, ласкавшие его. Сверкнул своими изумрудами. И ушел в дикую бродячую жизнь, маленький, гордый, независимый.

СКАЗАНИЕ О ГОЛУБЯТНЕ

Рассказ

УИльи Павловича в голове завелись голуби.
— С чего бы? — с привычной математической дотошностью доискивался он до причины столь невероятного явления. Почти сорок лет преподавания физики в школе не предполагали с возрастом развития мистики. — Может, потому, что фамилия Сизарев? Не-ет! У ботанички Раисы фамилия Грушина, а фигура у неё ничем не напоминает выпуклости дюшески или, допустим, какой-нибудь мичуринской бере зимней.

Но, может быть...

В последнее время наблюдательный педагог стал замечать в событиях неожиданные ситуативные совпадения. Стоило ему подумать о чём-то, например, вспомнить какого-нибудь шалопая вроде Витьки-Гаджета, живущего в его же дворе, как буквально через два-три квартала он сталкивался нос к носу с его матусей, с которой рад был бы вообще никогда не встречаться. Или, скажем, втолковывал десятиклассникам о пользе логики для взрослой жизни, а потом, покупая кофе по дороге, на вопрос: «Горячий?» — получал от продавщицы неопровержимое умозаключение: «Я не пробовала». А недавно!.. Он поворчал, что часы каждый день спешат на пять минут. И вдруг наутро обнаружил, что они начали отставать: ровно на пять минут.

Махнуть рукой на эти безобидные тождества физику не давал его аналитический склад ума. Пришлось с лёгким

неудовольствием признать, что и он давал поводы попасть на ехидные язычки школьников. После бесконечных опытов в лаборатории руки Ильи Павловича были испачканы какой-то размазней или просто припудрены мелом, отчего он не мог подтянуть сползавшие брюки. И с этим недоразумением он справлялся, прижимая к бокам локти и ёрзая ими, как неуклюжий птенец. На уроках старый физик для сохранения учительского образа с дидактическим металлом в голосе предостерегающе произносил: «Сегодня у нас, голуби мои, контрольная. У вас, вернее». Этих причин было достаточно, чтобы заработать прозвище Голубятник.

— Ну, допустим, подобного внимания к своей персоне не избежал ни один преподаватель, — думал, шагая, Илья Павлович и весело хмыкнул, вспомнив, какие клички он раздавал им со студенческой братией, когда учился на физмате. — Но — голуби! И где: в голове! Бред какой-то!

...Вначале был яркий свет. Ночью он резанул по глазам, запечатанным сном. Острой болью отозвался в затылке. Илья Павлович проснулся, и ему показалось, что он ослеплён. Но боль постепенно утихала, разливалась теплом по лицу, переходила в щекочущее умиротворение. Он вздохнул и снова лёг. А ближе к следующей ночи вдруг почувствовал, что его голова отяжелела, щёки уперлись в необструганные деревянные щиты, а над головой сложился треугольником дощатый домик. В целом строение очень походило на голубятню. Илья Павлович поправил очки на переносице, провёл ладонью по редким седым волосам. Голова была круглая, как у Ньютона. Но ощущение тревоги не проходило. Даже усилилось, когда он попытался посмотреть в окно на дворовую компанию подростков и ги-

тариста, в котором узнавал Витьку. Голова поворачивалась со скрипом, как избушка на курьих ножках.

К утру обеспокоенность возросла. А после уроков стало совсем невмоготу: в голубятню стали слетаться голуби, словно иллюстрируя недавнее воспоминание о Староконном рынке.

В воскресенье Илья Павлович оказался в его торговых рядах. К нему подошёл низкорослый паренёк в необычно широком пиджаке, делавшем его фигуру квадратной. Физик и не признал бы в нем выпускника, отучившегося лет десять назад, если бы тот не поздоровался:

— Здравствуйте, Палыч. Хотите голубка приобрести? — И он распахнул полы пиджака. В больших карманах из чёрной широкой ленты, пришитых к подкладке, торчали белые голубиные хвосты. — Они так спят. А если их перевернуть, кровь отливает, и они могут лететь. Смотрите!

Парень достал птицу, чуть потряс её, погладил, подбросил. А затем с удовольствием засунул два пальца в рот и оглушил учителя протяжным свистом, после чего авторитетно утвердил: «Вернётся в свою голубятню». Илья Павлович вспомнил, как пышный турман поднялся над базарными лотками и полетел в сторону Слободки.

Теперь голуби слетались к нему. В голове зашумело, она навалилась на плечи, словно ворох дурных мыслей и сухих формул. Птицы хлопали крыльями, возились, чем-то шуршали, устраиваясь на перекладине. Найденный в портфеле парацетамол был бессилён, как медицина в критическом случае.

Мысли хаотично разлетались. Или это голуби разлетались? И опять возвращались в свою дощатую обитель. Снова хлопали крыльями, гулили, шумели.

Илье Павловичу стало не по себе. Рассеянно глядя под ноги, он медленно поднимался по лестнице. Встречных

шагов сверху он не слышал и чуть не ткнулся лбом в грудь Раисы Грушиной, жившей этажом выше.

— Палыч, что это с тобой? Да на тебе лица нет!

— Наумовна, дорогая, с ума схожу, — проговорил он, с трудом осознавая свою речь. И потому не заметил, как услышав совершенно нейтральное обращение «дорогая», та вздрогнула и участливо взяла его за рукав.

Сочувствовать человеку, несущему ахиною, не каждому удаётся. Но почти те же сорок лет преподавания ботаники в школе сделали Раису Наумовну терпеливой и предупредительной. Напоив коллегу чаем, она настоятельно порекомендовала не чиниться и записаться на приём к психотерапевту.

Илья Павлович давно не входил в кабинеты с робкой оглядкой и даже улыбнулся, представив, насколько он нелеп, примостившись на краю стула после уверенного: «Присаживайтесь! Какие проблемы?»

Парнишка в белом халате на глаз мог помахать детству под бой последнего звонка самое большое три года назад.

— Но какой бойкий! — отметил с профессиональной наблюдательностью физик. — И как слушает внимательно!

Он давно не выговаривался и даже не представлял после своей многолетней практики, что может волноваться, излагать свою беду, запинаясь и нервно теребя под столом застёжку портфеля, прикрывшего колени. Паренёк еле сдержал усмешку и, заслышав шаги в коридоре, выскочил, захлопнув дверь. В кабинет вошла медсестра:

— Вы на приём? Наш ведущий специалист просил передать, что минут на десять задерживается. Дорожная пробка!

— А это кто здесь был? — растеряно спросил физик.

— Наверное, практикант-второкурсник. Нагрузили нас по разнарядке... — любезно пояснила девушка.

Илья Павлович не стал ждать. Обида из-за того, что попался на розыгрыше, и негодование душили его.

Вечером он сидел у телеэкрана, не вникая в скучный фильм, со взглядом, погружённым в себя. Доверие — состояние деликатное, и нередко человек, раз обманутый, замкнётся и не захочет больше идти на откровение. Тем более на такое странное. Ощущение было, будто теперь голуби в голубятне нагадили.

В двери постучали. Раиса принесла испечённые коржики, понимающе выслушала и совершенно серьёзно посоветовала:

— Попробуй, Илья Палыч, с голубями, как с детьми: по-доброму. Не гнать их, а покормить, что ли. Наедятся и улетят.

На следующий день после уроков физик зашел в булочную:

— Хочу хлеб купить.

— Нет хлеба, — буркнула продавщица.

— А это? — он показал рукой на полку с двумя серыми кирпичиками.

— Мужчина, вы что, он же вчерашний! Нет, ну если сильно хотите...

Он сидел и кормил птиц. Хлеб был и правда чёрствый, но не настолько, чтобы нельзя было отщипывать кусочки и бросать голубям. Они сгрудились у скамейки сизой стаей, с торопливой жадностью клевали хлебный мякиш, толкались, вспархивали и снова садились на асфальт. Казалось, что слетаясь на корм, они покидали перегруженную расчётами голову. И наступало облегчение. Ясность даже.

— А она не такая уж и бесформенная, эта Рая. И понимающая. Да и чего мне теперь в мои-то годы? В наши-

то! Хотя... 60-летний Пифагор женился на своей ученице, которой было 18 лет. Но он был эллинский гений, а я — обычный физик. Средней общеобразовательной школы. Доведу этот класс до выпуска и уйду уже. Хватит.

Раиса тихо подошла к нему. Села рядом.

— Ну что, отпускает?

— Отпускает, — сказал он и в благодарном порыве сжал её руку.

Они долго бродили вдоль моря, ели мороженое. Он утлённо думал: ах, какой она была лет тридцать назад: молодая, дерзкая, сияющая! Нравилась ему. Когда они подходили к подъезду, уже стемнело, и он чмокнул её в морщинистую тёплую щеку.

— Опаньки! Это же наш Голубятник с ботаничкой, — хихикнул кто-то из подростков и юркнул в тень от дворового сарая. Там у юных неформалов была своя «точка сборки».

Палыч и Рая поднялись. Она задёрнула штору.

Но слышно было, как за окном звякнула струна и снизу с жалостным надрывом потянулось: «Не шумите, я прошу вас: тише. Голуби целуются на крыше».

— Это кто там такой голосистый? — спросила Раиса.

— Да Гаджет — Витька Иванюк из 10-Б. Балбес полный, но поёт хорошо.

— И правда хорошо, — подтвердила она.

НЕГЛАСНЫЙ ЗАКОННИК

Рассказ

Оглянувшись на детство, я опять попадаю в свой дворик, со стенами цвета мамалыги, со ржавым контуром крыш, вырезающим из неба квадратик синевы, как в песне о синем платочке. Двор соединялся с улицей полутёмным подъездом, через который сквозняк приносил то запах моря, то смачные ароматы Нового базара, — в зависимости от ветра. Если он дул сильнее, то поднимал пузырями вывешенные для просушки простыни, пододеяльники, наволочки белые — как облака.

Двор был буквально разлинован верёвками. На них ласточкиными хвостами прищепок держалось выстиранное бельё. В конце 50-х эти вещи были домашним достоянием и, имея такую ценность, делались соблазном для мелкого жулья. А поскольку развешивали стирку сразу из несколько квартир, хозяйки во избежание пропажи периодически сменяли друг друга, как часовые.

— Всё, Клава, тикай. Мне караулить, — вздохнула баба Маня, резонно охнув: «Була сила, доки мати носила». И грузно села на табурет.

— Маня, не спи. И оставь читать газету. Ты знаешь, что к Тамарке вернулся её хахаль и поселился у неё.

— Ну и что с того? Ей дорваться до мужика, как мартыну до мыла.

— До мыла?! А ты знаешь, кто её Сёма? Урка! Отсидел и вернулся. Вот и не зевай.

Баба Маня перекрестилась, грозно сдвинула брови, впечаталась в табурет, скрестив под перекладиной босые ноги в шлёпанцах. И приготовилась давать отпор.

— Тётечка Манечка, а вот вам наше здрастье, — подкрался сзади паренёк с широченной арбузной улыбкой. — На посту, как пограничник Карацупа?

— Ты чего ж, племянничек, испугал? Тьфу тебе под ноги!

Он жил на Канатной и только что приехал на трамвае № 23, дребезжащем, как склянки в посудной лавке. В руках у него был свёрток, из которого разносился тончайший запах молодой вяленой рыбы.

— Мама вам просила передать посылочку из Вилково. И ещё сказать кое-что по секрету. Идёмте на минутку в дом.

Уйти было нельзя. Но вяленый дунайский рыбец заслуживал чести. А любопытство было сильнее сторожевой бдительности: ведь чего не знаешь, туда и тянет. Маня оглядела двор. Лениво развалились коты, в щелях гранитного крыльца мирно зеленел спорыш. Солнце прочертило на стене ломаной линией тень от крыши. Под тяжестью сырого белья верёвки провисали, и их подпирали длинными деревянными шестами с прорезью на верхнем торце. Эти палки тихо покачивались, как мачты парусного флота.

...Минут через пятнадцать баба Маня вышла и завопила, как пожарная сирена: «Украли! Падлы! Жлобы! Фулиганьё!»

На крик высунулись головы из всех окон, верхних и нижних, и по двору раскатился многоэтажный мат.

— Маня, дура! Ты куда смотрела?! — женщины выбежали во двор. Кто в папильотках, кто в мокрых фартуках, в цветастых халатах в розочку, запахнутых наспех на животе. Ополумевшая от страха и досады Маня, вытаращив глаза, тяжело дышала и указывала пальцем на окна Тамары:

— Её, её, шалашовку спросите. Вора пригрела. Он и украл.

Дознание длилось недолго, аргумент был веским и принят на ура. Тётки, подбоченились, их губы скандально искривились, и все как одна они яростно стали требовать выхода гадины Тамарки на правый общественный суд. Та огрызалась, как могла, перевесившись с подоконника, но не рискуя выйти лицом к лицу к соседкам. Кто-то из женщин кричал, что надо ей повырывать патлы, кто-то грозил, что донесёт домуправу. Клава, у которой пропала накрахмаленная, ещё брачная простыня кардинально предлагала: «Просто утопить тварь. И всё тут до копейки!»

Неизвестно, чем бы закончилось бабье вече, если бы на пороге не появился Семён.

Синеватая майка открывала его плечи, на которых были вытатуированы звёзды. Он стоял спокойный, улыбочиво щурился на свет и с удовольствием затягивался сигаретой, вставленной в гранёный янтарный мундштук. Все притихли, как по команде. Сёма был маршрутником и «вертел углы». В переводе на нормальный язык это означало, что он по преступному промыслу был поездным воров и, курсируя по вагонам, изымал из пользования какого-нибудь раззявы его чемодан. После этого он кутил с товарищами, где-то пропадал, а к Тамаре приходил отошаться и получить то, чего невозможно украсть: её женскую ласку.

— Об чём шумим, дамочки? — промолвил он, по-хозяйски обозревая бабье ополчение.

— Сёма, ну посмотри сам. Здесь же висела стирка. И где она теперь? Может, ты скажешь, что это за гастроли? — сдерживаясь изо всех сил, обрисовала ситуацию Клава.

— Понятно, — с задумчивой злостью протянул Семён. И улыбнулся с какой-то непонятной суровой грустью, будто на мгновение проникся всей неумолимостью и горечью бытия. В солнечных лучах блеснули его стиснутые

золотые зубы. — Значит так: никуда не ходить, ментов не звать. Тамару не трогать. Через пару часов буду, и всё порешим.

Сёма скрылся в парадном и вышел уже в новом кремовом пиджаке и лакированных туфлях. Взглядом он властно дал понять, что разберётся с этим досадным конфузом, впился губами в янтарь своего мундштука и исчез за воротами.

— И чего он сделает? — пробормотала Маня.

— Сделает! — уверенно ответила, выйдя за ним следом, Тамара. Она закурила «Сальве» и бесстыже оставила на гильзе папиросы красный след от помады. А потом объяснила. Семён был не просто уголовником-рецидивистом, а воровским авторитетом. Такие звёзды на плечах не делали, кто хотел, — в лагерях их нужно было ещё заслужить. Эти же нательные знаки обязывали к жёсткому соблюдению порядков блатного мира. А, по закону, там, где живет авторитет, кражи быть не может. Пропажа простыней была воспринята Семёном как дерзкое нарушение, и возратить бельё хозяйкам стало для него вопросом чести.

Часа через полтора грякнули ворота, двое верзил затмили просвет. Впереди, посверкивая золотой улыбкой, шёл Семён. Сзади плёлся мужичок в кепке. Рукой с оторванным рукавом он, сгибаясь, еле удерживал нависший на плечах тяжёлый кулмак, напичканный скомканной тканью. Глаз его был подбит и совсем затёк, посиневшие губы распухли и нервно дрожали.

— Ну, бекицер! — повернулся Семён к мужичку. Тот поспешно раскрыл кулмак, и из него вывалились простыни, пододеяльники, платки, полотенца, даже крепдешиновое платье.

— Так тут не всё наше, — в растерянности от такого изобилия сказали женщины.

— Что смогли, то нашли! — Семён барским широким жестом пригласил разобрать вещи. — А во дворе больше даже пуговица не пропадёт. Берите!

Он стоял чуть в стороне и хладнокровно, как библейский Соломон, смотрел на человеческую возню. Семён не ждал благодарности, не наслаждался наказанием. Просто вершил негласный суд, без милосердия и зла следуя этике блатной справедливости: виноват — ответь! На побитого бедолагу он глянул не то чтобы с сочувствием, но — с пониманием предначертанности всего происходящего в жизни. Жалеть воришку ему было и не по чину. Прояви он жалость при двух свидетелях — потерял бы уважение и статус. Потом он устало вошёл в дом с видом человека, совершившего должное.

Слово Семёна оказалось незыблемым: с того дня на бельё во дворе никто не зарился. И даже после, когда он попал в очередную отсидку, из которой не вернулся.

Потом менялись времена, нравы, идеологические установки. Много чего обещали с трибун и в отрепетированных парадных речах. Но такого строгого исполнения закона, пусть неписаного, такого твёрдого соблюдения своего слова встретить больше ни у кого не пришлось. Невысокий, с заурядной внешностью, с фартовой привычкой к риску и нелепым показным шиком этот антигерой нашего давнего времени вызывал невольное уважение. Когда я извлекаю эти дни из архивов памяти, во дворе вздымается на ветру влажное подсиненное бельё, бабы сочувственно смотрят, как неожиданно долго журится по своему Семёну пышногрудая красавица Тамарка, а потом мне кажется, что само на миг воскресшее время смотрит на меня с крыльца, как этот битый судьбою зэк — печальными и мудрыми глазами.

ПОЗДНЯЯ ПАСХА

Рассказ

Михаил Петрович долго вдыхал запах сырой весенней земли, ещё тяжёлой от сна. По случаю внезапного тепла он решил раньше начать дачный сезон. И теперь сидел на чемодане, обдуваемый искрящимся степным воздухом. Слушать тишину не мешали ни щебет скворцов, ни шарканье веника за деревянной переборкой веранды. Ни сама девочка-студентка, прибиравшая комнату, снятую внаём. Худенькая, ушедшая в себя, с кришнаитскими чётками в руке, она искала уединенности в этом большом пригородном доме. Петрович пустил её пожить, уступив просьбе бывшего сослуживца, и с тайной надеждой избежать одиночества.

Привыкший к размеренности мыслей, он впервые понял, что память может быть непрошенной. Или это была совесть? Особенно становилось мутно, когда внутренне он вдруг снова видел себя в длинных, застланных бордовыми дорожками коридорах закрытых учреждений. Снова — двери с табличками, громоздкие письменные столы, чёрные телефоны, графины с мутной водой. Эти принадлежности кабинетного интерьера, колонны с массивной лепниной под потолком подавляли, словно открывая назначение власти.

Однако при чём здесь совесть, если он честно и пунктуально отработал много лет в системе госслужбы?! Да, аппаратным клерком, молчаливым исполнителем. Ну и что — не всем же в космос летать!

...Шарканье за стеной закончилось. И после небольшой паузы потянулось однообразное «харе-рама, харе-рама...». Девочка монотонно бубнила в нос. Пела бы, что ли, от души. А то словно стесняется своих восточных речитативов. Непонятных, но обязательных в воспроизведении.

Вот так и он! Принимал мнение начальства как уставку, профессионально лукавил, где нужно. Преодолевая недоверие к надуманным цифрам, писал безупречные отчёты. Докладные? — тоже! Без этого не бывает административной карьеры. Сообщал кое-что шепотком в прикрытую ладонью трубку. Терпел чужие прихоти, чтобы заработать хорошую пенсию. Потом — чтобы не попасть под сокращение как лицо пенсионного возраста. А чем плоха обеспеченная старость? Да и не стар он вовсе...

И то, что Пасха в этом году поздняя, разве плохо? Май распустился вербами, зазеленел. И, наконец, дождавшись красного часа, грянул в воскресные колокола.

А к полудню из соседней церквушки уже возвращались в поселок нарядные женщины с корзинками, полными снеди. Двое хмельных парней из местных с гоготком: «Христос Воскрес», лезли к ним целоваться. Жарко тискали молодух, крепко прижимали к забору, за которым возвышалась дача Петровича. И те хихикали и отталкивали их. Но совсем не сильно, а настолько, насколько этого требует прихотливая брачная игра.

Вот и к его квартирантке пришел паренёк с косичкой. И на веранде был слышен их чудной разговор о поиске пути, познании сути, высшей истины. Когда они вышли на свет, он не удержался:

— Что говорят ваши религиозные идеологи: постижим ли простым гностиком смысл жизни?

— Да, в жизни есть момент — он свой у каждого человека, — когда ему вдруг открывается тайна, — рас-

судительно ответил паренек. — И с этой вершины откровения видны и его главное предназначение, и те ошибки, которые не дают его исполнить. Но бояться не надо. Ведь часто вся жизнь — только прелюдия, подготовка к этому мигу. Так ведь называется прозрение, Кристина? — он повернулся к своей спутнице, обращённой к нему восторженным взглядом. — Остальное уже не важно.

Петрович посмотрел, как они спустились с крыльца, пошли по улочке, как осторожно и бережно коснулся этот долговязый подросток руки своей спутницы, забыв о целомудренных заветах эзотерики.

А что было вершиной у Михаила Петровича? Нервный стресс, когда его чуть не выгнали с работы? Когда он сорвал план подготовки района к зиме и как руководящее лицо мог быть привлечён к ответу? Он тогда пережил много, потерял сон, поседел даже. Но — выдержал. В который раз помогла ему природой заложенная цепкая способность выживать, упорство, с которым сельский человек любой ценой удерживается в городе.

Когда-то и он робко приехал сюда поступать в институт. А к пятому курсу был освобождённым комсоргом, произносил речи. Только стыдливо розовел, подавая руку черноглазой Рите. Его вызвали в первый отдел и сказали: если хочешь продвигаться по идеологической линии, отношения с девушкой еврейской национальности придётся прекратить. Тогда же в знак прощения ему доверили написать первую докладную информацию. На Риту! К счастью, они уехала с родителями в Хайфу, так и не узнав причину внезапного решения Миши расстаться.

Теперь что? Может, в церковь сходить? Ему, неверующему, эта мысль показалась забавной. Но одновременно даже интригующей.

Заиграло солнце. На подворье лежала круглая тень купола. Из певчей темноты белённого к празднику здания пахло ванилью, воском. Зайти он не решился. Старуха-богомолка неодобрительно покосилась на него. И тогда Петрович неожиданно для себя, сложив пальцы в щепоть, неумело перекрестился. Наверное, по привычке соответствовать обстоятельствам. Потом украдкой глянул на старуху. Но она истово была поклоны.

Ударил колокол. Раз! Еще!.. От медного эха завибрировало в груди. Когда-то он со своей женой, женщиной с проверенной репутацией, поссорился. Тоже на Пасху. Торжествовало советское время, и ему было положено быть атеистом. Яйца он ел, но не крашеные. И кулич ел, но называл его кексом. С этим супруга мирилась. Но их навеки разделяла стена формальностей. За её тупой толщей он не расслышал упрёков своей Дарьи Григорьевны, не разглядел подавляемого ею огорчения на настороженную сдержанность мужа в чувствах.

Они разошлись тихо, без скандала, чтобы не повредить карьере. Он должен был оставаться для подчинённых партийным эталоном. Хотя никому не было дела до его заслуг нержавеющей ленинца.

И теперь, спустя годы, Петрович понял, что эта скромная чиновничья жена — единственное настоящее, что он имел.

— Только Дарья ждала меня, терпела, чистила брюки, вечно обед держала на плите, чтобы горяченький был, — вспоминалось некстати. — А когда разъехались, безропотно оставила и белую «Волгу», и эту дачу, добротную, обустроенную. Только пребывание на ней разделить не с кем.

Он знал, что Дарья тоже так ни с кем и не сошлась. Но ни разу не навестил её, даже когда от знакомых узнал, что она болела.

И вдруг захотелось видеть её. Извиниться, что ли, поблагодарить за то, что была в его жизни.

...Подъезд бетонной пятиэтажки. Ленивый кот на пороге. Глупость, нацарапанная гвоздём на стене. Когда-то такое же словцо написал и его сын. Был примерно наказан. И после этого затаил желание уехать из дома. Вырос. Закончил военное училище и теперь служит на Северном флоте. Далеко...

— Заходи, — сказала Дарья без удивления. Словно между их последней встречей и сегодняшним днём не было провала в четверть века. Ему даже показалось, что она ждала этого дня.

— Как ты?

— Да так, живу.

— Христос Воскрес!

— Воистину, — ответила она и легонько коснулась его щеки тёплыми выцветшими губами. Вечереющее солнце скрадывало её морщины, золотило седину.

— Хоть бы предупредил, я бы прибралась.

— Я это... — перебил он её, — сказать пришёл. Я... я... Даша, я ведь тебя всю жизнь любил. Вот как.

— Чай будешь? — не зная, что ответить, предложила Дарья.

— Нет, — грустно ответил он. — Вот... сказал. Пойду. Поздно уже.

...Он вернулся на дачу, сел в кресло на веранде, накрылся пледом...

— Уж поверьте старому прозектору, нет тут никакого криминала, — утвердительно говорил врач на дежурстве, деловито разбавляя спирт. — Актик вскрытия мы сейчас составим... Что поразительно: какой организм крепкий, запала еще лет на двадцать.

— А сердце, значит, не выдержало? — испытующе прищурил глаз участковый.

— Да, представьте. Случай, бесспорно, редкий. Редчайший даже. Ну, ладно, давай, не чокаясь.

РОЗЫГРЫШ

Рассказ

Жил-был художник. Любил краски, называл палитру пол-литрой, был широк, когда позволяла наличность, не грустил от нехватки денег, увлекался идеями увидеть музыку, запечатлеть в картине стихи или философский тезис. Поэтому знался со многими и жил разнообразно.

Я его увидел впервые, когда он сидел у нас на кухне и признавался моей маме: «Когда я пил...» — словно говорил о голубом или розовом периоде своей творческой жизни. Покачивал бородкой и улыбался. А я, невольный свидетель этой фразы, поражался, как же можно так запросто о подобном говорить. Но признание было естественным.

За это его не то чтобы осуждали, но некоторые побаивались прямоты его откровения и вежливо избегали общения. Думающие художники говорили о нём с уважением, менее одарённые ворчали, что его абстракции — перехлест разума и не отражают действительности. Молодёжь худфака отзывалась о нём с восторгом. Им импонировала его принадлежность к модерновому видению, и они гордились своей сопричастностью к авангарду. Так, в зависимости от того, как его воспринимали, он оказывался зеркалом чужого таланта.

Мама с ним дружила. Он приходил к ней исповедоваться и получить недолгий отдых понимания, как вечный странник во время короткого привала.

В спорах и поисках истины, в рабочей гонке, чтобы успеть к выставке, в злых одиноких раздумьях, ни с кем не разделённых, в шумных компаниях, где он рассуждал о фиолетовом колорите Матисса или композиционном построении в картинах русских передвижников, проходили его дни. И то зажигались, то меркли его глаза. И билась тяжёлая кровь в беспокойных руках, искавших утolenия в работе. Он уходил в неё с головой, и тогда не было у него ни учителей, ни авторитетов. Было только его общение со своим богом, протекавшее в безмолвии страстного труда.

Хотя нет... перед одним мастером он благоговел. Это был Пикассо! Он прорисовывал мысленно картины кумира, и в клубах сигаретного дыма, поднимавшегося под потолок мастерской, бережно чередовались причудливые образы трёхмерного пространства, совмещённые в плоскости полотна.

Пикассо был богом! Одному несогласному, осмелившемуся возразить, художник бросил в голову пепельницей. По счастью она разлетелась, ударившись об стенку. Товарищи бросились унимать его, но художник заплакал. Капли текли по его мужественной бороде. Он в безумном удивлении смотрел на хулителя высокого таланта, не понимая, как можно не видеть очевидного, и сквозь горечь сочувствовал его духовной слепоте.

— Да успокойся ты, Алик, — подбежали товарищи, произнося его имя на одесский манер. А вообще-то... художника звали Аркадий Кречетов.

Искусствоведы, сотрудники Музея культуры и искусства сожалели, что о нём мало знают, что его авангард не популярен у чиновников, от чьего соизволения зависело, быть ли выставке. Конъюнктуру Аркадий не признавал и не писал доярок с поросятами или пастушков близ родных коров, наподобие тех, что украшали мясной кор-

пус Ново-Приморского базара. Не рисовал ударников труда с шаблонными огромными ручищами и мощными челюстями. Не потому, что для него лишней была бы плата за халтуру, а потому, что берёт свой дар и был готов умереть в неизвестности, чем расплескать его по пустякам.

С каждой картиной что-то умирало в нём, но одновременно придавало ему силу. Рельефнее проступал знак судьбы, по которому он продолжал служение живописи. Она преобразовывала действительность, утончалась усердием мастерства. У японцев он научился сопровождать картины поэтическими изречениями. И совместил краски и слова, летучей кистью соединил движения воздуха и мгновения света. В картины вошли стихии.

— По славе скучаешь, — в мастерскую, грохнув ботинками, вкатился круглолицый толстяк. Весело тряхнув седыми космами, он торжественно достал из-за лацкана бутылку вина и твёрдо поставил её на стол. — В такую погоду только греться.

Его спутник был невысокого роста, востроносый, проворный, мелко потирал руки, как судебный писарь. Кречетов намётанным глазом рисовальщика машинально уловил хитринку во взгляде этого человека, когда тот, скинув обстановку, постарался сделать это незаметно.

— Давай, пресса, доставай колбасу, — громыхнул Седой. — Да-да! Это наш письменник, готовый написать о тебе очерк и даже разместить в журнале. Он же переводчик с испанского, шпарит, как по-нашему. Говорят, собирается в командировку за границу. Антон, куда?

— В Испанию...

— Слышь, Аркадий, в Испанию. С мирной делегацией. Писать о художниках. Надеется на встречу с Пикассо. Слышал про такого?!

При этих словах Аркадий отбросил карандаш, плывущий по линиям эскиза. И выдохнул: «Так наливай, что ж сидим! Завидую тебе, дружище,» — добавил он и глянул на журналиста широко раскрытыми сияющими глазами.

Разговор за вином оживился и вполне заменил стереотипы интервью. Потом Антон сделал несколько фотографий картин Кречетова и пообещал, что при встрече с Пикассо покажет их как репродукции. И пусть тот знает, что и в этой стране за железным занавесом есть односторонняя творческая прогрессивность.

Далее разговор не клеился. Тут и гости заторопились уходить, и Аркадий не стал их задерживать. Истовое обещание газетчика было больше похоже на хвастовство подвыпившего болтуна. И всё же верилось. Поглощённость делом отвлекает человека от мирских категорий, а отсутствие интереса к ним делает его рассеянным и доверчивым. После услышанного хотелось предаться мечте, а воображению сопутствует одиночество. И художнику стало хорошо в придуманном мире, где нет вероломства и зла.

Друзья же, выйдя из мастерской, захохотали. Журналист, всё так же потирая руки, согласно кивнул на подмигивание Седого. И они направились в магазин.

Время шло. Художник работал, разговаривал с красками, рисовал стихотворные строки и слагал свои, искал гармонию в абстракции. За отчуждённость от фотографического реализма жизнь воздавала ему язвительностью критики и пренебрежением аппаратной братии, но там, за гранью официального непризнания, была его свобода. Её живительные потоки выдували из памяти неж-

данный визит двух приятелей. И всё же история имела продолжение.

Цвела акация, у порога вальяжно разлеглись дворовые коты, тягучей ленью смягчавшие вечер. В мастерской стоял нестройный гомон, созданный людьми, говорящими каждый о своём. Дама, всегда бывшая здесь, смотрела сквозь дым с видом хозяйки, словно опровергая мнение, что если художник личность, сформированная творчеством, то у него не может быть личной жизни. И согласно кивала в такт словам Кречетова.

— Картина может быть любой. Направление в живописи — любым, — говорил он возбуждённо какому-то долговязому музейному работнику. — Но становится она произведением, когда...

— В неё вкладываешь душу, — заполнила дама паузу.

— Да нет же, не так банально, — нервно перебил Кречетов. — А если так, то эта душа должна ощущать нечто большее, чем натура или даже, чем вымысел. Должно ощущаться Присутствие, — да, именно с большой буквы, — той идеи, в которой уже создан образ. И остается только его перенести на полотно или картон. То есть сделать то, для чего достаточно просто наработки руки.

— Ага, значит, и техника нужна, — съязвил собеседник.

— Да что вы за люди! — качнул головой Кречетов. И достал из ящика листок с выписанной откуда-то цитатой. И прочёл: «Пикассо не любит «знающих и умеющих», потому что «умение» — синоним окончательности, остановка на чем-то. А искусство всегда на пути к неведомому».

— Так что важней этическая сторона, — кто-то бросил реплику со спины.

— Да, но в Присутствии всегда уже есть нравственное начало. Это же не политика, не пропаганда какая-то там. Это — свыше, это — a-priori. И в этом отличие искусства от мастерства. Ну, понимаешь?

— Да. Впрочем... — поправил очки долговязый.

— Вдохновение, пока в полёте кисть, сверх понимания. Да и не нуждается в нём. Разочарование наступает потом, когда в сомнении кажется, что видел, но не смог оставить след озарения. Но по мне лучше эта неудовлетворённость, ревность к чужой удаче, только не уверенность. Только не однозначность.

...Дверь со стуком распахнулась.

— Ну, Аркаша, танцуй. Только сперва стол накрывай! Признала тебя Европа, — довольный своим задором, забасил Седой. И подтолкнул в бок Антона, размахивая перед ошеломлённым художником открыткой, где на испанском было написано: «Hola Arkadi. Asta luego» («Привет, Аркадий. До скорого!»).

Он застыл! Восторг выражается бурно, потрясение же — бессловесно, как неподвижная вода, скрывающая глубину. Лица двух знакомых визитёров и остальных присутствующих потускнели, отодвинулись на задний план, потеряли выражение.

Аркадий достал альбом со стеллажа, посмотрел раз, второй. Да, это была рука кумира, чье признание было ему дорого, как жизнь.

Он медленно приходил в себя. А компания, подогретая выпивкой, уже, не сдерживаясь, похохатывала. Кто-то фамильярно хлопал его по плечу, предлагая спуститься на землю и оценить дружеский розыгрыш.

— Да хочешь, Антон прямо сейчас и твою подпись изобразит, не то что Пикассо, — доносилось до него. — Да не переживай ты так! Ну подумай, в самом деле, где ты,

а где Испания. Но Пикассо тебя бы, конечно, оценил. Вот и мы тебя ценим.

...Карнавал издевок прервало долгое, как эхо: «Во-о-он!». Что-то, попав под руку, грохнуло об пол. Пролилось. Звякнув, разлетелось вдребезги. Отголоски крика, казалось, ещё долго отражались от углов уже опустевшей комнаты, ещё рвали спёртый воздух, пытаясь облегчить взрыв боли в груди. На тахте испуганно одна сидела женщина, всегда остававшаяся с ним.

Когда приехали санитары, им предстала картина разгрома. Среди стекла от разбитых бутылок, пролитого вина и размазанных по полу красок из раздавленных тюбиков лежал художник. Он почти не двигался, в неестественно расширенных чёрных зрачках отражалась мастерская. Только иногда вздрагивал, словно рыдания ушли куда-то в глубину его естества и уже не покидали.

Кречетов пришёл из больницы тихим, выбритым, молчаливым. Он оставил преподавание студентам, отложил частные уроки, и непонятно было, на что живет. Все думали, кризис сломал его навсегда.

Но к осени он выбелил стены, словно загрунтовал холст, взялся за кисть и начал работать. Тогда в один из вечеров он пришёл к маме, и я случайно слышал его исповедь. Помню, он сидел бледный, торжественный, как человек, который переступил порог обыденности и шагнул в сферы, где понятен смысл жизни. Пил чай маленькими глотками, и с каждым глотком его глаза светились благодарностью. После этого он ушёл, попрощавшись, будто навсегда. Мне было жалко этого чужого неизвестного прежде человека, которого я видел несколько раз. Я заплакал. Мама погладила меня по голове и ничего не сказала.

Лучшие картины Аркадия Кречетова были созданы за эти полтора года. Он полностью восстановился, даже поправился немного и купил новое пальто. Опять к нему стали заглядывать ученики, товарищи. Только однажды...

В опустевшей мастерской на стене был выписано замечательное панно. Художника не было. У плинтуса стояли его забрызганные красками башмаки, будто только что сброшенные. А дальше открывались горы и бежавшая на склон тропа. Пейзаж останавливал вошедших в благоговейном оцепенении, словно и впрямь кто-то присутствовал здесь, хотя в комнате не было никого, кроме света. Но нельзя было прикоснуться к этой ауре обычному человеку. Художник создал свой мир и ушёл в него.

Его ждали, но назад он уже не возвращался.

ЛАХУДРА ПИТЕРСКАЯ

Рассказ

Он был маленьким сухоньким старичком. И ничем не походил на некогда разудалого ротного командира армейской разведки. Ёжился от ветра, не любил дожди.

Покоренный обаяньем южан, он старался подражать их сочному говору и неутомимой манере рассказывать анекдоты. Но чеканно произносимое «Ч» выдавало в нём истинного питерца.

Он с сожалением отказался от папирос. Пачка початого «Казбека» с нарисованным всадником покрываясь пылью. Так же по настоянию врачей пришлось бросить пить. Он согласно тряхнул головой. Только в день Победы неизменно поднимал жгучие сто граммов. И не было обстоятельств, которые бы могли воспрепятствовать совершению этого фронтového ритуала. А потом к дому подъехала «скорая»...

Её появление также совпадало с извещениями, что кто-то из бывших однополчан покинул этот воинственный мир и, козырнув, проследовал в скромный солдатский рай. Торопливый топот врачей обрывался на третьем этаже. А на утро дядя Витя выходил бледный, притихший от немилосердия памяти. Он медленно, как бы нехотя шел по аллейке, слегка прикрывая веки. Может, чтобы слёзы не выкатились. Казалось, они копятя и давят изнутри. Но он держится, как на какой-нибудь из своих высоток, и не отступает. Не уступает чувству, готовому захватить врасплох.

Мы жили на одной лестничной площадке. И часто встречались, когда он, чинно отворяя дверь, выпускал в божий свет свою сдобную супругу бабу Мусю. Выросшая в частном доме на вольных ветрах Слободки, она не уставала ругать «долбаные хрущёвые коробки», куда её, как в угол, загнала судьба офицерской жены. Держась за перила, она валко спускалась по лестнице, вставляя для красного словца: «Ох-хох! В каждой хате дерьма по лопате».

— А в какой и по две, — согласно смеялся дядя Витя, певуче продолжая отзыв на одесскую присказку.

Как сошлись этот вышколенный майор из войсковой элиты, и ворчливая Митриевна, знают, наверное, лишь те, кто заранее определяют, кому дано на роду сойтись и быть вместе, кому — порознь. Дядя Витя был воплощением порядка, отмеренного на весах справедливости. С фотографии с прищуром смотрел молодой красавец с прямым носом, тонкими, слегка надменными губами. Волосы, зачесанные назад по довоенной моде, открывали широкий волевой лоб.

— Ой, дядя Витя, наверно в молодости своим ленинградским барышням головы кружи-или?

— А то! — подмигивал он, прикрывая перебитую осколком руку. Баба Муся недовольно фыркала и, поджав губы, потемневшим взглядом впивалась в телевизор.

О том, какую роль сыграло ранение в его жизни, он рассказал однажды, когда, не выдержав одиночества, постучал ко мне вечером: «Здорово, сосед, я тут... со шкаликом. Пустишь?»

Его благоверная второй день маялась в травматологическом отделении горбольницы. Причиной её беды была ревность, непокорный характер и шекспировские страсти, которых я никак не мог предположить у стариков, которым под 75.

— Моя бабушка та еще леди Макбет, — обронил как-то дядя Витя.

Из ворчанья Муси вырисовывалось, что до неё у Виктора Антоновича была жена. И он, «старый сучок», до седых волос сохнет по своей крале. А она никакая не краля, а кошка драная. И все неприятности в жизни из-за этой размалёванной питерской лахудры.

Однажды сцена обвинения в супружеской неверности разгорелась при мне, когда я зашел к ним попросить спички. Шла проблемная передача о СПИДе. Врач, дававший в студии интервью, многозначительно называл причины этой африканской хворобы.

— Надо же: «передается со случайными половыми связями», — повторила Митриевна, как крестом оградилась. Но, видимо, ссора уже зрела в доме. — Приезжала твоя бывшая. У! Б... балерина с подагрой.

— Не сердись меня, — раздражённо вскрикнул дядя Витя.

— Я уйду от тебя, — с силой рывкнула Муся. Она тяжело поднялась, решительно двинулась прочь. Щёлкнул замок. Хлопнула дверь. Виктор Антонович побагровел. Я смотрел на него и не знал, что делать.

Пауза оборвалась воплем Муси: «Помогите! Ой, рягуйте. Нога! Моя нога!»

Мы бросились на крик. Митриевна прошла не более полета лестничного марша, на ступеньке подвернула ногу и теперь беспомощной массой, как тесто, лежала на кафельной площадке.

Я и водопроводчик Дима, живший на площадке, усадили её на стул и в таком виде снесли вниз к карете скорой помощи.

Виктор Антонович остался горевать в опустевшей квартире. Тогда он и явился со шкаликом. Водка, выпитая не со зла, размягчает и побуждает каяться. И старый раз-

ведчик облегчил душу исповедальной историей. Простой и мучительной.

Он как коренной ленинградец унаследовал строгий нрав своего гранитного города. У него был роман с актрисой, потом они поженились. Поклялись в верности друг другу, когда он уходил на фронт. После ранения ему дали побывку на три дня. С рукой на перевязи он поспешил домой. В прихожей чуждо пахла сырым ворсом незнакомая шинель. Свесили лощёные голенища офицерские сапоги. В дыму и бледном свете абажура Виктор увидел, как их хозяин сидел за столом в майке, с плеч его, как лямки за кулисами, свисали помочи. Ненаглядная сидела рядом, положив руку ему на плечо там, где должен быть погон. Она вскрикнула, прикрыла пальцами рот. Каплями крови сверкнул маникюр.

Виктор ничего не сказал. Повернулся кругом, как на строевых, и вышел.

— Хотел задушить. Но рука не позволяла, — промолвил он. И налил ещё.

Женщина пробежала босыми ногами по холодным ступеням, догнала в подъезде. Но он произнес только: «Уходи».

История короткая. Но сколько силы тогда зазвучало в человеке, который перешагнул через самолюбие и боль, не стал унижаться сам и унижать ту, которую безуспешно забывал всю жизнь.

— Она не билась в истерике, не плакала. Только вслед тихо молвила: «Я всегда буду ждать тебя», — прошептал он. — И выполнила обещание.

Она долго искала его. Болела. Работала диктором, снималась в тривиальных фильмах. Разыскала его только сейчас, когда он, отвоевав, получил назначение в Одесский округ, вышел в отставку. Когда уже давней была его встреча с пухленькой сестрой-хозяйкой Мусей из госпи-

таля, которая, млея от страсти к орденоносцу, властно оставляла на его щеке красный бантик от помады. Они поженились. С тех пор она охраняла его, как самое дорогое, что имела в жизни.

Актриса постарела. Собственно, уже и не актриса. Она словно всю жизнь каялась и искала своего разведчика. Нашла. Приехала. Набравшись духу, поднялась. И тут услышала всё, что было в лексическом арсенале разгневанной слободской фурии. Муся словно берегла пушечные слова на этот случай. Самое приемлемое для цитирования было знакомое уже «лахудра питерская». А как же: вся горечь, что единственная — не она, все подозрения, все беспокойства были из-за кого? Только из-за неё!

Нежданная гостья постояла на улице, теребя шляпку. Поклонилась фасаду. И растворилась в тени июньских каштанов.

— Любил я эту женщину, — признался дядя Витя.
— Забыть не могу. И простить не могу. Но отрезал — не пришьёшь.

Мусю мы забрали на следующий день. За стеной было слышно, как она стучала по полу, передвигаясь с загипсованной ногой. А на следующее утро она снова кричала: «Помогите-е!».

— Что ещё? — спросил я, толкнув их дверь.

— Витя умирает, — прокричала она и задохнулась от своих слов.

Виктор Антонович лежал на диване. Конвульсии, как пружиной, подбрасывали его.

— Может, врача вызвать, — выдавил я дежурную фразу.

— К черту! Пить не надо было. Подними меня, я офицер, хочу умереть стоя.

Я взял его под локоть.

Он с трудом сел. Подтянул подушку на колени, опёрся на вышитых лебедей. Глянул куда-то невидящим взгля-

дом. Может, туда, где в далеком северном городе терзалась непрощённой виной его актриса. Выдохнул. И с этого мига сухонькое восковое тело могло принадлежать только земле. Муся выла, закусив платок.

После похорон сын забрал её в Тирасполь. Квартиру продали. По слухам, скоро и её дух отправился на поиски того, кого любила, как могла. И ещё больше ubyло в полку людей того поколения, где никто не сдавался. Хотя и каждый по-своему.

COGITO ERGO SUM

Рассказ

Степану Долгосельцу приснилось, что он умер. С кем не бывает, миролюбиво подумал он. Но вдруг, как молнией, ожгло: «Взбрeдёт же в голову! Куда годится: за год до пенсии?!»

Он с криком разомкнул веки. Темнота в глазах оставалась густой и непроницаемой. Он испуганно откинул одеяло и начал шаркать тапками по комнате, словно уходя от мысли, что дела земные для него уже закончены.

— Надо бы зеркало повесить, если уж такое приключилось, — он подошёл к трельяжу. Глянул. Но... не увидел никого. — Что за мистика! Неужели моя Марья наворожила? Ну, поссорились. Ну, уехала. Первый раз, что ли? Только к чему это она пригрозила: «Смотри, Степа, так и стакан воды тебе подать будет некому»?

— Полагаю, буду умирать не от жажды, — задиристо крикнул он вслед. Вот и договорился!

Будто к слову, захотелось пить. Крутнув вентиль, Степан сделал два больших глотка из крана. В нос шибануло жилкоповской хлоркой.

— Стало быть, жив! — обрадовался он. И удивился: — Надо же! Какой гадости ты должен хлебнуть, чтоб осознать себя человеком.

Снова намереваясь заснуть, Долгоселец стал вспоминать, как клевал носом над конспектом истмата:

— Прямо как у Декарта: *Cogito ergo sum* — «Я мыслю, следовательно, существую».

Проснувшись, Степан машинально натянул брюки. Пальцы сами застёгивали пуговицы, поправляли манжеты, шарили по полке, нащупывая кепку.

Прикосновение ткани к телу не ощущалось. Был ли тяжелым внушительный портфель, собранный с вечера? Или потерял вес? Он не мог ответить. Не мог решить, холодно на улице или нет. Дующий с моря ветерок проходил сквозь него, приподнимал над землёй. Однако грудь распрямилась и в движениях появилась свобода. Хотелось парить. Или он уже парит?..

— Летать по городу гражданам не запрещается, — урезонил себя Степан, поглядывая на прохожих. Но те шли безразличные к чужим метаморфозам. Только две встречные старушки-иеговистки, пытаясь вовлечь в разговор, огорошили вопросом:

— Скажите, мужчина. Есть Бог?

— В Одессе всё есть!

— А, как вы думаете, будет конец света?

— Миленькие одуванчики, уже не бу-удет, — пропел он, вытянув губы трубочкой.

Входя в рабочий кабинет, Долгоселец тихо послал в пространство безадресное «здрасьте». На него никто не обратил особого внимания. Впрочем, и Степан глубоко не вникал в настроение коллег. Но сейчас его слегка царапнуло в душе от того, что сотрудники не распознали в нём человека окрыленного, каким он до сего дня не значился. Зато никто не донимал расспросами.

— Всё же плохо, — рассудил Степан, — что столько лет в одном коллективе бок о бок обретаемся, а друг друга не замечаем, избегаем даже, стараемся в коридоре не столкнуться, глаза опускаем, чтобы не здороваться. Какой там возлюбить, если о ближнем, кроме должности,

ничего не знаешь. И от соседей прячешься в свои заботы, как в нору. Взять, к примеру, Карташова, который живет в подъезде этажом выше. Как с ним познакомился? Когда тот залил нашу квартиру, и Машка таки заставила к нему подняться. Бытовой инцидент давно закончился перемирием. Только... теперь, перед тем как из дверей выйти, пережидает, когда этот крендель в очках спустится по лестнице на пролёт ниже, чтобы ненароком не столкнуться. Так и существуем, как думаем! Эх, мало двоек ставили за Декарта!

И Степан Долгоселец вперился в бельмо компьютерного экрана. Он втайне любил свою работу и компенсировал небольшую зарплату клерка из статуправления увлечённой преданностью методичному труду. Нередко сведения о чужих денежных расчетах, земельных платежах, налоговых взысканиях, хранимые в бездонной памяти микросхем, к концу дня просто подавляли его. Оставалось добраться до дивана и бесцельно щёлкать кнопкой переключения телепрограмм. Однако сегодня цифры сами складывались, сочетались, делились и множились. Правильный результат побуждал гордиться знанием счётного ремесла.

— Статистика не понимает промежуточных состояний: либо ты в этой категории, либо в той. Ведь за цифирью стоят люди, живые люди с их правдами, надеждами, сожалениями. И мир становится понятнее, а потому ближе, как-то роднее даже, — воодушевлённо философствовал Степан.

Наполненный внутренним монологом незаметно прошёл день. В душе всё ещё сохранялась удивительная лёгкость. С нею Степан отправился домой, пересумерничал синевящий вечер, долго глядел на звёзды. Они были далёкими и потому казались добрыми.

С первыми звуками будильника Степан снова ощутил знакомое бремя бытия. Тело было грузным, нудно тянуло поясницу. Охнув, он подошел к окну. Сквозь разводы на стекле светило солнце. С кем-то переругивался дворник. Консьержка размазывала веником по крыльцу кошачье дерьмо. У хозяйки снизу, видимо, пригорели гренки, и горьковатый дым заносило к Долгосельцам.

С ней Степан познакомился, когда залил её потолок. Она тогда поднялась и высказала всё, что думает о сосуществовании с таким соседом. При встречах они продолжали сдержанно раскланиваться. Но Степан всегда стремился поскорее проскочить мимо её дверей, чтобы ненароком не столкнуться.

— Показали нездешнюю жизнь. Потом здешнюю, какая есть, да в неё же и вернули. А что с этим делать, не сказали, — посетовал Степан, надевая кепку.

С этим он взял портфель. Не в меру громко хлопнул дверью, словно предупреждая, что выходит. И двинулся в новый статистический день. Судя по затаённому шороху по ту сторону смотрового глазка, соседка пережидала, когда он спустится по лестнице на пролёт ниже. Долгоселец ускорил шаги.

Я СКАЖУ ТЕБЕ...

Рассказ

... Я обязательно скажу тебе сегодня: «Дорогая». Я назову тебя ласковым именем. Ты сероглазая грустинка, облачко, моя волшебная веточка, — мечтательно говорил про себя Егор, пока ноги механически отбивали считалку лестницы. Наконец, он спустился с седьмого этажа и с разбегу бросился в жар августовской улицы.

С Надей они виделись несколько недель. Иногда ходили на представления. Один раз он даже купил ей цветы. Это не было ухаживанием — скорее неосознанным притяжением двух неискушенных молодых людей. Но вчерашняя гроза словно разбудила Егора раскатистым грохотом.

Они забежали в подъезд. Надя стояла перед ним в сияющих каплях, в облепившем талию платье. Он вдруг захотел поцеловать её и, задыхаясь, схватил за плечи, притянул к себе. Она его резко одернула. Егор вспылил. В ответ получил оплеуху. И не оборачиваясь, размашисто ушёл, бросив её одну.

Теперь порывы уязвлённой гордости, скрытое сожаление и мягкие укоры неожиданной нежности накатывали волнами, ошеломляли откровенностью. Как будто эта сумятица чувств и нужна была, чтобы за выходные понять: это та женщина, о которой он готов печалиться, мысленно общаться с ней и заботливо желать добра.

Однако быть репортёром в молодежной газете — это не любезности расточать. Понедельник начался с задачи

встретиться со светилом вальдорфской педагогики и скомпоновать из его сентенций читабельное интервью.

— ...ласточка, солнышко, извини, колокольчик мой светлый... — повторял про себя Егор волшебные слова, лавируя в толпе. Набитая бумагами сумка хлопала, как голенище.

— А поаккуратнее?! — провизжало сзади.

— Извините, бабушка, не нарочно зацепил, — бросил он на ходу.

— Какая я тебе бабушка! Га? Такой молодой, а такой черноротый, — услышал он гложущее за спиной возмущение.

Трамваи не ходили. Что ж, три остановки можно и пешком. Ничего, что жарко. Это лучше, чем дрожать, как недавно под дождём.

— ...она мерзлячка. Говорит, надевает шерстяные носки чуть не с сентября. Зато сама вяжет... — Егор обрадовался встречной на пути будке-«батискафу». Хотелось пить! Подходя, он споткнулся о кусок ржавой трубы возле окошечка.

Двое сантехников с лопатами выбрасывали из траншеи сухие комья глины. Гортань уже ощущала колкие пузырьки холодной газировки. Но третий, куривший у края ямы, проговорил: «Пока не подведём трубу, не откроется. Здесь не скоро, парнишка...»

Светило педагогики говорил, наслаждаясь вниманием к своим речам. Журналистика обязывает слушать, кивая головой, внимать, буквально работать диктофоном. Но китайский «цифровик», видимо, от проникшей в него дождевой воды заглохил, и вести запись пришлось ручкой. Признательность Егора по окончании этого двухчасового диктанта была искренней.

На улице он достал мобильный телефон и стал с волнением набирать номер Нади.

— Абонент не может принять ваш звонок, — бесстрастно сообщил металлический баритон. Не может... Наверное, у неё залило мобильник.

— Хоть воды-то уже можно выпить? Да-а...Мы до грозы сок пили... Она попросила манго...

— Егор! Старых друзей не замечаешь? — перед ним лыбился рыжий верзила. Ну да: Костя, одноклассник. Он схватил школьного товарища под локоть и потащил за угол к пивному ларьку.

— Друг детства, — представил он Егора. — Вместе двойки получали.

— Ну, присоединяйся, — шевельнулись мужички. — Мы тут о бабах философствуем...

— Чудак, разве можно о своей жене рассказывать с такими подробностями, — думал Егор, тащась по солнцепёку в редакцию. Впереди мелькала пятками пергидролевая блондинка.

— Да, у Надьки ноги похуже. Но зато она — единственная, — спохватился он.

Войдя в свой кабинет, Егор схватил трубку, ткнул палец в диск. Сигнала не было.

Телефонный мастер, размахивая кусачками, спорил с курильщиками о вчерашнем матче.

— Ну, и когда же почините? — раздражённо спросил Егор.

— А когда пресса правду начнет писать, — загоготал монтер.

Интервью готовилось для засылки в номер. Откладывать было некогда. Егор нахохлился и погрузился в работу.

— Дружище, ты самый молодой, — в дверях щёлкнули туфли редактора. — Надо сходить на почту вместо Леночки. Прости и топай!

Светофор таращился на перекрёсток сразу тремя зажжёнными огнями. Десятка два машин уже сердито урчали моторами в пробке, гудели клаксонами. «Козёл», — скорее разобрал Егор по губам, чем расслышал выкрик из лоснящейся иномарки, рванувшей из дорожного затора. К горлу подступила пивная отрыжка.

— А вдруг бы переехал? — пытался взять себя в руки Егор. — Тогда белая реанимация, за спиной остывает прошлое. Хочешь крикнуть и не можешь вытолкнуть из себя последнее, возможно, самое важное в жизни, слово. Надичк-а-а-а! Потом она прочтёт лицемерный некролог: «Никто не ждал, что такое случится...» Не ждали! А чего мы ждём? Удобного случая? Подходящих слов? Свободы от обстоятельств?

Наконец-то, материал сдан и подписан в печать!

— Уже никто не отвлекает. Поробовать позвонить ещё раз? — Отрывистый стук в голове. Неприятное ощущение под ложечкой. Язык присох к нёбу. Тягучие гудки. И чей-то недовольный голос в трубке: «Она простудилась. Спит».

Дома Егор вышел на балкон в безветренную ночную прохладу. Слушать наступившее внутри молчание не мешало ни шелест крон, ни пение сверчков, ни тающий гул троллейбуса, завершавшего дневной круг. На перекрёстке вспыхивали огоньки шофёрских сигарет. Сорваться бы, крикнуть таксисту: «Плачу! Гоним на Слободку». Туда, где под одеялом свернулась калачиком его Надя. Его на-

дежда, которую искупает его неловкость, досаду и полное незнание того, что произойдёт потом.

А в настоящем? Егор достал общую тетрадь, щёлкнул ручкой... Такова была сегодня правда его жизни. И о чём ещё стоило думать и помнить, что описывать, если не её?

БЫТЬ МАСТЕРОМ...

Рассказ

Он в любую погоду брёл, заложив руки за спину, вдоль причальной полосы, как одинокая старая чайка. Его все знали, приветствовали: «Здрасьте, дядя Коля. Доброго здоровьечка!» Он отвечал одними глазами и продолжал свой путь в молчании. Словно всё, что должен был, уже сказал за свою долгую жизнь. И теперь был наедине с памятью.

Но однажды его вывели из этого дремотного равновесия, спасительного для утомлённого сердца. Никто не видел, как и чем, а главное, зачем его стал задирать молодой ремонтник из плавмастерских, пытаясь уличить в празднословии. Или, скорее, просто из куража.

Дядя Коля не раз рассказывал, как проверяли подлинную квалификацию слесарей после войны, когда многие приходили устраиваться на завод с поддельными удостоверениями.

— Твоя работа — вот твой документ! Мне для подтверждения своего шестого разряда нужно было сделать кубик, — интригуяще говорил он. — Да, кубик! Давали кусок железа, тиски, напильник и штангенциркуль. Всё! Весь твой инструмент. А — иседай!»

История эта пропахла дымом курилки, складской соляной и морским ветром. Но в каком бы месте не звучала, она была неотъемлемой от рассказчика. Он с первых слов раскалял её эмоциональным жаром, словно вы-

талкивал тебя из коридорной полутьмы во двор, залитый янтарём августовской спеки. Из рассказа следовало, что изготовление кубика сводилось к симбиозу работника и материала. Наверное, это же состояние переживают скульпторы. Металл воспринимался им как стихия, которая проявляет человека. И для создания искомой стереометрической формы нужно было своё ремесло одушевить глубинным чутьём и так довести до мастерства. Сродниться, что ли, с куском железа, как толчки напильника самозабвенно совпадают с ударами пульса.

— Семь потов с тебя сойдёт, слышишь, семь, пока смастеришь. Пока извлечёшь этот кубик, фигурку эту чёртову из массы железа. Он там! Там, ты знаешь! Он ждёт появления на свет. И ты — стараешься ему помочь. И железо, твёрдое же ж какое, зараза, начинает тебя слушаться. Словно идёт навстречу, потому что родиться хочет. Стать разумным изделием. Во как! — удовлетворённо выдыхал дым сигарки дядя Коля от того, что сумел высказать себя.

Слыхавший эту историю паренёк, будучи слегка навеселе, всунулся с подначками не в своё дело. Может, и обошлось бы, но далее стычка происходила на виду всей бригады, вышедшей на перекур. Чей-то смешок показался язвительным, и старика прорвало:

— Ты! Ты!.. Да это моя профессиональная честь! А ну пошли! Пошли в цех! — он рванул паренька за край фуфайки. Глаза дяди Коли широко раскрылись и недобро потемнели, налившись кровью: горячей и вздорной, унаследованной от греков-контрабандистов по отцу и от одесской мамы с родословной, начатой от казаков-первостроителей порта. Да и от всей своей жизни, отданной работе и морю.

Николай Фёдорович буквально родился на флоте, начав работать на судах с десяти лет. Помогал матросам драить

палубу, выносил шлак из топок машинного отделения, маленький и юркий, он мог пролезть в любую щель, и его нанимали чистить судовые котлы. Пройдя такую школу, он стал отважным, смекалистым и тёртым. Когда началась война, он, как и тысячи других моряков, снял картуз, тихо перекрестился и пошел защищать Родину.

25 июня 1941 года в трудовой книжке Николая Фёдоровича появилась запись о зачислении его на пароход «Ленин» в должности кочегара. Он остался живым очевидцем того, как тонуло судно, напоровшись на вражескую мину. Его ударило о бортовой пиллерс и выбросило за борт. Несмотря на поломанную грудь, тяжело контуженную правую руку и почти не действующую левую ногу, он выплыл, но уже в строй стать не смог.

Он восстанавливал порт и слитый с ним судоремонтный завод. Засыпал песком воронки, убирал обломки стен. По его словам, «тут каждый камень, как дитю малую, на руках переносил». Потом до пенсии работал слесарем на Втором судоремонтном. Но — время выходит и у сильного человека. Из уважения к заслугам старика ему выписали бессрочный пропуск в порт.

Теперь остановить ссору было невозможно. По требованию дяди Коли ему в руки передали кособокий обрубок круглого железа, указали на верстак в слесарке.

— А теперь все выйдите! Соглядатаев — на хрен! — рывкнул он в ярости.

Время шло. Старик не выходил. Ребята уже начинали нервничать, наорали на паренька: «Шурик, какого чёрта человека разозлил! Может — не может!.. Твоё какое дело?!»

— Действительно, — соглашались остальные. — На фига! У деда же и глаз не тот, и рука слабая. А ты его — позорить!

Время шло. Через фанерную дверь было слышно редкое позвякивание отпущенной рукоятки зажима тисков и скрипучий звук от коротких уверенных движений напильника по металлу.

Бригадир было решил заглянуть в комнатушку, где орудовал дядя Коля, но нарвался на резкое: «Выйди!». Однако успел заметить, как тяжело старику, уловил его тяжёлое импульсивное дыхание.

Наконец, Николай Фёдорович открыл дверь. Капли пота искрились и вибрировали на лбу от его внутренней дрожи. На раскрытой ладони блестел гранями небольшой кубик. Дядя Коля бросил его на стол подсобки: «Держи, пацан. Можешь им в нарды играть. А теперь быстренько дуй на горку в магазин. И чтоб хватило на всех довольно!»

Дело было перед выходными. И в тот вечер уже никто не работал, чокались, курили, дивились упрямому характеру дедов, трудом смиравших непокладистую историю. В общем гаме никто не заметил, как дядя Коля незаметно ушел.

После этого случая в порту он не появлялся.

Кубик стоял на подоконнике мастерской, а после её реконструкции появились новые люди, случай забылся и граненая шутовинка затерялась, как за давностью теряются в памяти яркие события жизни.

РАССКАЖИ! РАССКАЖИ, БРОДЯГА...

Рассказ

— **Х**-хоть, журналёр! И надо тебе в такую дырень? — старшина сдвинул свою милицейскую фуражку на затылок. — Ну, поехали, — и он по-хозяйски обхватил руль, ругнулся, выжимая педаль, и грузовик, сотрясаясь от толчков, стронулся с места.

— Всех бомжей растрясём. Их сзади в будке пять душ сидит, — гикнул он. — Писать про них будешь?

— Буду, — буркнул Вадим. Зябко поёжился и замолк.

В щели кабины задувал сырой ветер. Моросило. Хлюпала под колесами расквашенная осенью дорога. Ржавые ворота открывали въезд во двор, окольцованный бетонным забором. Из караулки серого двухэтажного здания с зарешеченными окнами выглянул дежурный: «Чего, постояльцев привез? Ну, выгружай!»

— Вот он, спецприёмник. Бомжевы хоромы, — сообщил водитель.

Щёлкнул замок, и из будки стали вываливаться задержанные после рейда по подвалам и чердакам бродяги. Последним спрыгнул на асфальт мужичок в чёрном потертом пальто и ботинках, больших на несколько размеров, как у клоунов. Его серый подвижный глаз оживленно блестел. Другой был, очевидно, выбит. Видимо, по этой причине мужичок так лучился морщинами в нескончаемом прищуре, что казалось, будто он всё время весело подмигивает.

— Во — экземпляр для очерка. В восемнадцатый раз сюда попадает. Ни паспорта нет, ни дома, ни хрена. Сам лезет под облаву, чтобы здесь холода пересидеть, — показал на него водитель.

В комнате свиданий были две скамьи, наглухо привинченные к полу, и стол, за которым восседал надзиратель. Дверь открылась, и конвоир с усмешкой толкнул бойкого бродяжку: «Иди-иди, персонаж. Сейчас прославишься».

— Владимир Иванович. Бомж! — церемонно представился он. — Живу на земле напротив неба. Все скажу, как на допросе, только дайте папиросу, — и он выразительно перевел взгляд с Вадима на пачку сигарет, которую крутил в руках надзиратель.

— Да кури уже, шлёндра старая, — лейтенант положил на стол сигарету. Бросил коробок спичек. И, цокнув языком, добавил: «До чего, зараза, хитрый. И в аду своего не упустит. Он нам уже надоел. И ведь работал же, гад, жильё в России имел. Так взял и паспорт потерял. А тут Союз развалился. Сюда-то он приехал, а подтвердить, что в другой стране не имел гражданства, не смог. И что находился на украинской территории не смог. Вроде как и нет его. На каком, спрашивается, основании было ему выдавать ксиву? Вот и бродяжит».

— Но человек же есть, вот он перед нами сидит, — указал Вадим на Владимира Ивановича, который с видимым интересом слушал историю своей жизни.

— А вот такой державный парадокс. И не признают его гражданином, и не отвергают.

— ...Судьба на то судьба и есть. Чего на неё жаловаться? — заёрзал на скамейке Владимир Иванович. — Похарчусь тут месяц и на улицу до следующей облавы.

Мужичок был словоохотлив. Он поведал, что родился в Одессе возле вокзала. Мать повторно вышла замуж, а его, чтобы не мешал семейному счастью, отправила в детдом.

Как и все покинутые мальчишки послевоенных лет, он поверил в придуманную от одиночества легенду, что его отец полярный летчик, где-то дрейфующий на льдине. И, закончив школу, отправился его искать. Товарный поезд увёз его в будущее, как в туман. Он ночевал в подвалах, на заброшенных дачах, в бойлерных, на пунктах приёма стеклотары. Навострился прятать зимнюю одежду в чердачных тайниках до поры, запастись табаком, вытряхнутым из окурков. Летом уезжал в Крым и кормился у тарханкутских рыбаков. Подрабатывал за харч в приморских кафешках. Мыл вагоны на товарной, месил бетон, сколачивал ящики в тарном цеху.

— Приворовывал, конечно. Но так, по мелочам, — तोропливо смягчил он свое признание, искоса уловив недовольство лейтенанта. — И всё же надо было скрыться. Я привычным манером — на товарняк... Так и попал в Казахстан, в такие дали — теряются глаза. И знаете, кем я стал?

— Ну и кем? — шмыгнул носом лейтенант.

— Табунщиком! Мы, бродяги, полны дикой свободы. И, наверное, поэтому лучше понимаем всякое зверьё. Я сутками не вылезал из седла, гонял по всем степям, как ветер. Там была одна ..чернобровая... Ох, красавица! — Владимир Иванович осёкся, замолк, грустно опустил голову. И вдруг стрельнул глазом на лейтенанта и просительно улыбнулся.

— Вот лис, — хлопнув по столу, надзиратель покосился на Вадима, опешившего от услышанного, и выложил ещё одну сигарету. — Да давай больше про свою кралю. Чего ты тут про лошадей?

— Не в ней дело, а в крови моей авантюрной. И в неудержимой страсти, — с театральной задумчивостью продолжал Владимир Иванович свою исповедь. И вспомнил весенние ночи, одурь травяных ароматов. Как с силой

тянул за узду, разворачивая коня к юрте, где жила четырнадцатилетняя дочь здешнего пастуха. И пока не рассвело, проворно вскакивал в седло и мчался подальше от злых подозрений её сурового отца. Но разве скроешься в степи? Разве утаишь от чужих глаз преступную любовь?

— Ну и чё тебя, дед, застукали? — протокольно спросил надзиратель. Владимир Иванович долго молчал, думая, рассказывать ли позор своего наказания. И только тихо произнес: «Да так... не зарезали». А потом потянулись четырнадцать лет заключения, серых и бессолнечных, как бараки.

С отметкой об освобождении в паспорте, как с татуировкой на лбу, он вернулся в Одессу. Если дом олицетворяет внутренний мир своего хозяина, что чувствует человек, не имеющий пристанища? Не зная другой любви, он принял горькую щедрость, протянутого ему винного стакана... Свернулся калачиком на лавке в парке, накрылся пиджаком. А проснулся уже без паспорта и денег.

— А до административного ареста, ну, до этого задержания... как вы жили? — спросил Вадим, не сумев скрыть покашливанием неловкость, будто коснулся недожденного в чужой судьбе. Или от того, что вдруг столкнулся с той стороной жизни, на которую до этого с пренебрежением закрывал глаза, считая недостойной внимания.

— Знакомьтесь: король двух кварталов! — прервал милиционер возникшую заминку молодого репортёра. — Он жалобит, потому что всего рассказывать не хочет. Этот лирик курирует на Черёмушках контейнеры для мусора. Его группа воюет с другой бомжевской братией за право рыться в этом дерьме. Тут ему в рот палец не клади — руку откусит.

— Бомж в «Альтфатере» — символ нашей экономики, — с горделивым вызовом произнес Владимир

Иванович явно заученную фразу. — О благосостоянии граждан я сужу по тем обедкам, которые они выбрасывают. Знаете, кто я? Я ваш диагноз!

Он уже кричал, срываясь на фальцет. С ним была истерика. Милиционер распрямился, как пружина, в его руке пропеллером повернулась резиновая дубинка. Вадим побледнел. Но мгновенно, с той актерской реакцией, какая выработана у обитателей трущоб то побоями, то попрошайничеством, Владимир Иванович растёкся в безвинной улыбке. И охотно встал, по-тюремному заложив руки за спину: «Пора что ли?».

— Так и запишите: «Не оказывал сопротивления», — обратился он к Вадиму, по-прежнему весело подмигивая потерянным глазом.

— Да не буду я его бить, — неприязненно поморщился лейтенант, посмотрев Вадиму в глаза. — А ничего, что вы вот так человеку в душу лезете? Фактики выпытываете? Вы распишете его приключения, а ему это что: думаете, поможет? Или он исправится? Передовиком станет? Его место здесь! Встреча окончена, — бросил он Вадиму. И, обратившись к притихшему Владимиру Ивановичу, произнес: «Пошли. Хватит балагана». И вдруг из зрячего глаза этого проныры, завсегдатая спецприёмника выкатилась и поползла по щеке настоящая слеза. Искренняя. В волнении он сунул руку в карман, но вместо носового платка достал старый синий носок. И тщательно вытер лицо.

Назад ехали молча. Водитель понимающе кивнул головой: «Побачил, какой контингент?».

— Вишь, сигаретку дал! Человечность проявил! Моралист нашелся: в душу говорит не лезь! А сам — за дубинку, — думал о случившемся Вадим, иронично ис-

кривляя губы. — А, может, старик хотел просто участия. Чтобы хоть кто-нибудь о нем слово замолвил. Кто любил его в жизни? Кто помогал, сочувствовал? А чего он в самом деле хотел? Надо писать! Писать об этом, не скрывая правды.

Мотор урчал. По мокрому стеклу монотонно скользили «дворники». Водитель включил радио. «Расскажи, расскажи, бродяга. Чей ты родом...» — затянула кочевой цыганский романс Ляля Чёрная.

— Да выключите вы его! — раздраженно крикнул Вадим.

Встреча с мужичком постепенно забывалась. Но однажды, бодро шагая после зачёта по площади на первой станции Черноморки, Вадим увидел возле телеграфного столба знакомую фигурку в чёрном пальто и ботинках больших, как у клоунов. Все с той же гримасой, словно подмигивая, старичок держал засаленную шапку и просил милостыню.

— Он! Конечно, он! — сам не зная, чему обрадовался Вадим. — Владимир Иванович, здравствуйте! Узнаёте? Выпустили вас...

— Признал. А я тут стою. Так сказать, новое место работы, — устало пошутил он.

На молодого человека уставился одинокий глаз. И тут темное от грязи и загара лицо вечного путника, изнеможёного бездомностью, вдруг приобрело резкие черты. С бессильной злобой он сжал сухонькие кулачки и визгливо прокричал:

— Зачем? Зачем ты написал обо мне? Это прочли. По твоей писульке меня опознали. Надо мной бомжи смеются. К «Альтфатеру» не подпускают! Гонят!

Он развернулся и, плюнув, зашагал прочь.

...Вадим сидел в пресс-службе МВД и просматривал информацию о происшествиях за сутки. «На посёлке Котовского обнаружен труп неизвестного мужчины. Одет в чёрное пальто, старую шапку-ушанку, чёрные ботинки, большие по размеру. Возраст не определен», — телеграфировала сводка.

Дальше Вадим не читал. Он отложил бумаги и сидел без дела, глядя в серое небо. Моросило. В щели окна задувал сырой ветер.

Вадим искоса уловил недовольство начальника пресс-службы. И торопливо, чтобы разрядить обстановку, прищурил глаз, словно подмигнул молодому майору, и просительно улыбнулся: «А что, шеф, покурим?».

ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МЕНТА?

Рассказ

Мария Александровна Горохова одиноко цокала каблуками по пустой улице. От каждого удара — эхо раздумий о жизни расплывалось в вечернем тумане. Уже стемнело и было страшновато.

Беспокойство усилилось от того, что, мягко шурша колесами по асфальту, подкатил дорогой автомобиль и, тускло поблескивая бордовой эмалью, стал медленно двигаться вровень с её шагами. Бесшумно сползло стекло дверцы. Владелец иномарки пригнулся и галантным баритоном произнес: «Могу ли я чем-то помочь прекрасной незнакомке?»

Мария Александровна развернулась лицом к борту, инстинктивно сделала шаг назад, и её словно обожгла искра воспоминания: «Дима? Ты? Тебя и не узнать!».

С момента, когда они закончили школу, прошло десять лет. За это время они ни разу не виделись. Тогда Дима Петрухин был маловыразительным подростком и девочки-одноклассницы им почти не интересовались.

Страх перед теменью пустого города отступил перед мягкой настойчивостью тона, не признающего отказа, каким было сделано предложение. Колебания, возникшие было, утихли перед накатившей волной женского влечения к любовной аванюре. И Мария Александровна решила уступить.

В теплом, обнявшем за плечи кожаном кресле она узнала о давней влюблённости в неё, о том, что она была его

недостижимой мечтой, предметом юношеских вожделений, но, главное, выяснилось, что Дима — один. И это добавило интереса к его прищуренным масляным глазам, приподнятой верхней губе эротомана и нагло выставленному подбородку. Да и вообще — respectable мужику, каким он стал.

Банальный намёк на чашку чая, согревающую одинокого мужчину, был игриво отвергнут обнадеживающим: «...Не сейчас».

— Этот день настанет, — пафосно произнёс Дима и взял Машу под руку. Стараясь не привлекать шумом внимание бдящих соседей, они взойшли на третий этаж.

— А замочек-то совсем хлипенький, — с инстинктивной осмотрительностью розысника подумал Дима. И это наблюдение вернуло его из адюльтерного дурмана к трезвой оценке происходящего. В коридоре щелкнул выключатель, и у Димы тенью по лицу пробежало отрезвляющее недовольство: под вешалкой стояли мужские туфли 45-го размера. Рядом вжималась в коврик чёрная пудовая гиря.

Легкое опьянение флиртом, перемигиванием при угадывании цифр, составляющих номера их телефонов, скопленные на коленки Марии Александровны взгляды, сопровождаемые её безуспешными попытками натянуть юбку пониже, — всё потеряло прелесть перед разочарованием: «Так она замужем!»

Вместо чая Дима вдруг вспомнил о каком-то важном деле, требующем созвонки с дежурными операми, безвкусно поцеловал Машину запястье, косясь куда-то вниз к башмакам 45-го размера, сухо произнёс безликое: «Созвонимся», — и удалился.

Но ведь всё было не так. Иначе!

Да, Маша, казалось, была создана для земного счастья. Она имела квартиру, оставшуюся после развода как трофей, высшее образование, престижную работу. Наконец, сохранила притягательную для мужчин внешность. Но — мужа у неё не было!

— Все твои проблемы из-за того, что ты ни с кем не живёшь, — наставительно вещала ей подруга. — Не спорь! Отсюда и страхи, что к тебе кто-то в дом проникнет, поэтому и спишь при свете, — она задумалась. — А пока у тебя появится на пороге «принц сиреневый» с букетом, купи мужские туфли, ну, такие — большого размера. И... гирию. И поставь в коридоре. Грабитель залезет, увидит и подумает, что здесь живет мужик серьезный, так что лучше сматываться.

— Ты откуда знаешь, Сёмина?

— Поживёшь с моим майором десять лет, и не таким штучкам научишься. Психологиня!

Наутро Горохова поднялась разбитой. Побрела в коридор, выключила бра. Из зеркала на неё глянуло уставшее лицо. Она кивнула отражению и деловито сказала: «Будем реставрировать». Через час из подъезда выпорхнула воздушная, нарядная женщина в шляпке и, уверенно направилась к своему автомобилю. Эстетную привычку покупать обувь в модном салоне «Милан» пришлось осадить трезвой мыслью, что туфли должны иметь ношенный вид. И она развернула светло-серый «Опелёк» в сторону стрёвки.

Базар жил, как всегда, шумно и несправедливо, но весело. На Марью дохнул перегаром словоохотливый перекупщик:

— Подарок мужу? Дамочка, обратите внимание на вот эти! Прекрасный выбор! Берите, не ошибётесь. В таких

прохарях ваш супруг сходит до Винницы и назад до вас вернется.

Рядом на расстеленной газетке стояла пудовая гиря.

— А это тоже продаётся?

— Как всё на свете. Нержавеющая! Для вас — за пятьсот!

— Но вы хоть поможете донести её до машины?

— Тогда ещё скромная надбавка на магарыч. И поздравляю с ценным приобретением.

Тащить гирию пришлось, делая перерывы для отдыха после каждого лестничного пролёта. Мария Александровна гневно отбрасывала мокрую прядь, липнувшую ко лбу и по совету подруги с каждой взятой лестничной площадкой постигала, что и у мужчин бывает нелегкая доля. Дома она утолено слезла с «лабутенов» и запаслась надеждой.

Выйдя от Маши, Петрухин молча рулил по ночному городу. Взял было сигарету. Но в задумчивости стал прикуривать со стороны фильтра. Говоря о своей влюблённости к Маше во время флирта, он не просто соблюдал законы жанра. Когда-то она и в самом деле сильно поразила его воображение, но подойти к ней он не осмелился. Теперь вместо того, чтобы, спускаясь вниз, с каждой ступенькой терять интерес к своей внезапно возникшей визави, он поймал себя на том, что мысленно воспроизводит её бидstrupовские формы бёдер, приподнятость бюста, казалось, готового выпрыгнуть из декольте платья. Забытая смолоду горячая волна прошла по груди, неожиданно ёкнуло сердце, защемило, словно перед экзаменом.

Несколько раз он ставил машину вдали от дома, где жила Мария, и наблюдал за ней. На всякий случай послал в разведку участкового с выдуманной необходимостью про-

верки паспортного режима. И окончательно убедился: она живёт одна. И никого, кроме подруг, у неё нет.

Оставалось сожалеть о столь холодном прощании с женщиной. И Петрухин задумался основательно. Между тем, час был не настолько поздним, чтобы клонить к сновидениям. Он вошёл к себе в дом, сел в кресло. И понял, что не в силах выдержать одиночества. Рука потянулась к трубке.

— Ты что, Петрухин, влюбился на ночь глядя, — ворчал Сёмин. — А если нет, то чего вспомнил старого дружба-бана. Ну, приезжай. Моя всё равно к матери отбыла: нет никого. Да не на своей, бери машину. Потом ведь за руль не сядешь. Как почему? Ты без бутылки в дверь даже стучать не смей. Холостяк, блин!

С Сёминым Дима учился в академии и ценил не столько профессиональную вьедливость друга, сколько твёрдую возможность положиться на его слово. Собираясь, он снял вместе с костюмом имидж преуспевающего в делах человека, аккуратно завернул в целлофан палку сервилата и с одобрением достал из бара полуторалитровку «Смирновской» водки. Свои майорские погоны он давно обмыл и теперь припасал водочку для банкета по случаю скорого пуска в эксплуатацию подполковничьих звёзд. Ему хватало денег, положения, власти, секретарша Светочка, выставив бюст по стойке смирно восторженно артикулировала: «Доброе утро, Дмитрий Евгеньевич». И вдруг странным образом запала в душу какая-то Машка, которая наряжалась ярко и вызывающе, как профурсетка, но за которой он, сгорая от стыда, когда-то подглядывал в раздевалке. Ладно — пора по рюмочке!

Сёмин не знал подруг своей жены, а она в свою очередь, его к ним не подпускала, поскольку все они, как на подбор, были незамужние. Подливая Диме «смирнов-

ской», он не догадывался, что это Петрухину — как масло в огонь. А когда услышал, какая затея пришла в голову его бывшему однокашнику, просто ошеломлённо сел на ковёр.

— Дима, прости, но ты что, козел? Ты закуси колбаской-то, закуси плотней и подумай. Это же преступление! А если мне его дадут расследовать? А? Кореш ты мой.

— Да вроде все гладко!

— Фу! Ну ты упертый. Ромео! Значит, такую говоришь, придумал схему: она — на работе. А ты удостоверился, что замок хлипенький. Так? Так! Ты его отмыкаешь и совершаешь кражу. Да-да, для нас — условную. Но согласно кодексу — настоящую. И что? Она обращается к тебе, ты вносишь вклад в общий процент раскрываемости, возвращаешь ей её добро и становишься рыцарем-спасителем в её синих глазах.

— Да, — пьяно кивнул Дима. — Будешь у нас шафером.

— Передачи я тебе по пятницам приносить буду, — буркнул Семин. — Отмычками хоть пользоваться не научился?

Два дня Петрухин безжалостно бичевал свое незыблемое прежде самолюбие, переступив через которое мысли все равно возвращались к школьной вертлявой отличнице, всегда бывшей на виду. И не выдержал! Тщательно взвешивая и оценивая каждое своё действие бесслёзными глазами следователя, он, с козырьком, надвинутым почти до самых приклеенных усов, в мягких тапочках по-кошачьи поднимался на третий этаж.

Потом он долго сидел в машине и ждал появления Марии. Выдержав трёхминутную паузу после её входа в подъезд, он как бы невзначай позвонил.

— Дима! Димочка, — что мне делать? Родненький, помоги! Украли драгоценности, подарок мамин, деньги, всё-всё, — рыдала в трубку Маша.

— Машенька, Машенька, — взволнованно дышал ей в ответ Петрухин. — Золотая моя, да я ради тебя... да всех бандитов пересажаю. Я ворюгу этого лично поймаю. Уши надеру. И это самое, ну... всё-всё верну: и деньги, и бусы, всё, и кулончик с Нефертити. Машенька, только не ходи никуда. Жди меня. В райотдел ни в коем случае не звони! Не нужно это! — повторил он еще раз уже с привычным начальственным нажимом.

Для убедительности нужно было выждать ещё хотя бы часа полтора. Темно-бордовый «Феррри» куролесил по городу, минуя перекрёстки, лавируя между автобусами, мопедами, грузовиками, насмехаясь над светофорами. И Маша ждала его владельца не менее сильно, чем когда-то росписи в судьбоносный день, назначенный ЗАГС-овой администрацией. Страх перед неизвестным будущим поглощало смутное предвкушение счастья, непонимание, каким оно будет, сменялось надеждой, её расцветчивало смятенное воображение и, наконец, побеждало любопытство. А сквозь него проступала поразительная женская способность даже на гребне стрессового переживания помнить наперечёт каждую деталь туалета, каждую вещьцу в доме.

— Миленький, скорее. Всё украли. Даже гирию и старые туфли... — причитала Маша в трубку, по мере выброса гнетущих эмоций всё больше приходя в себя.

— Даже туфли виртуального мужика, и его гирию упёрли. Гирию-то зачем? — произнесла Марья, обращаясь уже к самой себе и удивляясь случившемуся. Она с недоуме-

нием смотрела на свое заплаканное лицо и, молча разговаривала с отражением, пока майор Петрухин, без пяти минут настоящий подполковник безжалостно выжимал акселератор.

— Бусы? Ну, допустим, он видел их на мне, — рассуждала она. — Деньги? Ну, понятно, деньги всегда вор берет первыми. Но откуда он узнал про кулон с Нефертити? Я его уже сто лет даже не доставала из шкапулки. Красивый, кстати. Но он — он откуда знает о нём? В самом деле: откуда?

Звонок в дверь отвлек её от этих детективных мыслей.

— Вот! — Петрухин торжествующе потряс тощенькой пачкой долларов! — Поймали гада! С поличным. Я его взял, когда он хотел сбыть краденое.

И на стол ложились кольца, бусы, кулончик с профилем египетской царицы. Петрухин заметно нервничал, пальцы тряслись, не слушались и с трудом извлекали из кульки бижутерию, блестящие побрякушки. Маша с появлением на свет очередного украшения улыбалась всё шире. И до Димы стало доходить, что с каждой вещицей, положенной к ногам избранницы, он всё нелепее выглядит. Апофеозом глупости стали завернутые в газету ненадёванные башмаки 45-го размера.

— А гирию куда дел? — хихикнула Маша.

— Я принесу, — краснея от понимания, что рассекречен, заверял Дима, — я, я тебе новую куплю! Только не обижайся, ну, не знал я, что делать. Не мог иначе, — выкрикивал он, уже слившись с Машей в неудержимом хохоте.

На этой волне близости он схватил её на руки. Она обмякла, доверительно прижалась к нему.

Потом они долго лежали молча. Дима обеспокоенно поглядывал на женщину, тяготение к которой оказалось выше разума и повышения по службе: «Неужели ей было плохо со мной», — ворочалась у него в голове беспокойная мысль.

Маша смотрела вверх и утлено дышала: «Хорош, зверюга! Ну что теперь, послушать Светку и выйти замуж за мента? Будем дружить семьями».

МРАМОРНАЯ ПЛЯСУНЯ

Повесть

Танцовщица получилась лёгкой и воздушной. Она изящно закинула мраморную руку за голову, потянувшись за вытянутой другой, и в порыве так подалась вперёд, что статуэтка не стояла бы на плоскости, если бы её не уравнивали широкие складки платья, отброшенные назад. Это была композиционная находка, после чего Василий Сафонов немало потрудился, воплощая замысел в камне.

Статуэтку выставили в Художественном салоне. Скульптор не присутствовал при смене экспозиции. Работа отняла у него все силы, и он, ни с кем не прощаясь, укатил на дачу.

Монотонный гул поезда мгновениями возвращал в тёмное оцепенение, возникавшее от мучительного застревания на одной мысли, занятой поиском того единственного штриха, от которого утолённо прорвётся дыхание. Студентка худграфа позировала плохо и совсем не соответствовала по содержанию образу вознесённой танцем женщины. Не отпускал внутренний критик, придирчиво корил. И по коже холодком пробегал страх, знакомый, наверное, каждому художнику, что ты иссяк, сказал последнее слово и больше уже ничего не сможешь создать. Таков момент освобождения от своего произведения, которое существует уже само, независимо от воли автора.

Однако среди картин и цветных поделок, керамических блюд и вазочек в салоне, явно рассчитанных на невзы-

скательного покупателя, «Плясунья» (а именно так её, не сговариваясь, стали все называть) заметно выделялась на высокой металлической подставке, покрытой белым ватманом. Студенты восхищённо взирали на работу мастера и рисовали с неё этюды, мечтая о собственных лаврах.

— Да-а! Размахнулся наш Василий Захарыч. А вы говорите: выработался мужик. Вот на дачке у лимана отлежится, он ещё таких шедевров натворит. Ждите новых неожиданностей, — рассуждали соратники по Союзу художников.

Та же беседа шла и в мастерской Сафонова, куда некоторые были вхожи запросто. В отсутствие хозяина здесь так же уютно пахло растворителем и красками, по стенам и стеллажам висели засушенные букеты, старые тыквы, пылились бутылки необычной формы, какие-то побрякушки, подрамники. Висела в связке коллекция ключей, ржавых и чуть поновее, — так... для инсталляции.

Подоспел кофе. И любимец всего студенческого мира преподаватель классического рисунка Николай Батищев с неторопливым усердием отвинтил крышку на бутылке с коньяком: «Давайте за здоровье товарища. За Ваську!»

Художник Саша Роговцев, когда-то бегавший к сидевшему напротив мэтру сдавать экзамены, теперь не без его поручительства принятый на кафедру, одобрительно поднял стопку. Охотно поддержал тост и молодой аспирант Федул, гордый тем, что выпивает в кругу избранных.

— Да, красивая женщина, — мечтательно протянул он.

— Тебе нужно познакомиться с девчонкой-натурщицей, которая позировала Захаровичу. Есть такая Светка, кажется, с четвёртого курса, — усмехнулся Александр.

— И высечь её...

— Нет, — властно поставил опорожнённую рюмку на стол Батищев. — Не о том говорим. Надо вести речь

о творчестве друга. Знаете, например, как он сам оценивает свою работу?

— Уж не влюбился ли в неё, как в свою Галатею? — бойко откликнулся Федул.

— Тебе бы умничать!

— И впрямь не следует, — поучительно продолжил Батищев. — Отношения между автором и произведением — вещи серьёзные и психологами не изученные. Ничего путного не скажет наука в случаях, когда нужно чувствовать и понимать интуитивно. Как Галатея откликнулась на душевные движения своего создателя? То-то, что неизвестно! А ведь должна была, потому что пока глина или камень не воплощены в задуманную форму, они просто материал. А статуя — уже одухотворена. Пушкинского Командора вспомните.

— Да, и я переживал такое ощущение, что произведение, та же картина или даже набросок, выполненный со старанием, ну... с душой, потом живут своей самостоятельной жизнью, — скромно подтвердил Роговцев.

— Вот-вот, — кивнул головой Батищев. — Вы, коллега, знаете. Добавлю ещё: настолько самостоятельной, что творение зачастую перестаёт походить характером на того, кто его в муках творчества произвел. Настолько, что хоть кричи, доказывая свое авторство, — все равно не верят. А, между тем, художник и творил как раз для того, чтобы выразить именно себя.

— Но судить о нем всё равно будут по произведению, а какой он есть человек — не поинтересуются, — сымитировал огорчение Федул.

— И что же тогда: разлюбит он своё творение и пожалеет, что создал его? Страшно подумать, — удивляясь своему выводу, произнес Роговцев.

— А оно, Саша, ещё и отомстит ему за отступничество, — поучительно изрёк Федул.

Снова хлопнул коньяк. Весело вспыхнули в свете лампы карие огоньки на гранях старинной штофной рюмочки. Но было грустно, словно каждый что-то потерял в этом цеховом диспуте.

— Бывает и так, что жаль расставаться с картиной, когда продаёшь её в чужие руки, — помолчав, заметил Роговцев. — Повторить её невозможно. Разве что сфотографируешь для архива. Добро бы приобрёл музей: тогда знаешь, что на неё будут смотреть люди, равнодушные к живописи. Или хотя бы уважительные к труду художника. Эта картина попадёт в каталоги, буклеты, о ней будут спорить искусствоведы. Нет-нет, — дело не в популярности. Просто будешь знать, что ты не один, что нужен кому-то. А иначе? Укажешь в аннотации, что такое-то полотно находится в чьей-то частной коллекции. И огулом будешь заподозрен в создании ширпотреба.

— Но и не продавать нельзя, — заметил Фекул. — Художнику-то больше не с чего жить. Одни краски и рамы вон чего стоят. А за аренду салоны столько заламывают, что от твоей работы один материальный убыток.

— Все мы через это проходили, — примирительно сказал Батищев и взялся за трость.

Уже вечерело.

Сафонов возвратился с дачи раньше, чем его ждали домашние. Его отшельническую идиллию под солнышком на причале прервал телефонный звонок. Девочка-сотрудник Художественного салона при Союзе художников, извиняясь, сообщила: «Есть покупатель на вашу «Плясунью». Спрашивают, какова цена».

— Цена?.. — вопросительно потянул Сафонов. И замер в раздумье на другом конце мобильника.

...Цена была дорогая. Статуэтку он ваял из мрамора. Пусть не самого качественного, но зато он искусно исполь-

зовал особенности камня. Серая прожилка изгибом подчёркивала лекальную округлость живота, усиливала ощущение пластики воспроизводимого плясуньей движения.

Сафонов был одним из немногих, если не единственным в городе, кто для работы использовал мрамор. Не только потому, что достать его трудно. Мастеру нравилось, что мрамор требовал сосредоточенности и точности. Не прощал ошибки. Еще в нём любил он ощущать сопротивление материала, его норовистость, которую следовало преодолеть с терпеливой нежностью. Можно, конечно, вырезать фигурку и из картошки. Но созданная форма не сохранит в памяти переживаний автора, исподволь жаждущего разделить их со зрителем.

— Три тысячи долларов, — произнес он медленно, словно с трудом преодолевая несогласие с собой.

И через полчаса очередной звонок отчеканил: «Сумма устраивает клиента. Администрация салона поздравляет вас».

— Аналогично, — в тон девушке-офис-менеджеру ответил он.

За деньгами Сафонов приехал на следующий день на первой электричке. В сбитых кроссовках, хлопчатобумажных брюках, с потёртой спортивной сумкой в руках, Василий Захарович не производил впечатление демиурга. Он молча постоял возле пустого постамента, окинул взглядом экспозицию, кивнул картине в багете, выписанной Батищевым, которого сразу узнал по манере. И улыбнулся.

— Что-то смешное? — настороженно спросила девушка, с уважением глядя на деятеля культуры, разбогатевшего на её глазах за пять минут.

— Да так, вспомнил, — ответил Сафонов. — Когда-то на открытии выставки членов Союза художников мы заспорили, понимают ли камерное творчество простые люди.

И пригласили водопроводчика, который там чинил кран. Ну, налили ему. Сами понимаете: торжество, фуршет. Он выпил шампанского, посмотрел на модерн, всякие изыски. А потом указал пальцем на Колькино полотно. Вот оно как: что хорошее, то и так видно, не нужно знатоком живописи быть.

Девушка также улыбнулась и критически посмотрела вслед: «Староват».

А жизнь шла своим чередом. Деньги, вырученные за статуэтку, понемногу растекались по мелочам. Известная их часть осталась в кассе кафе-бара напротив Художественного училища. После экзаменов сюда заходили и юные дарования приобщиться к ожидающей их божественной жизни. Компания сложила в угол этюдники, ребята спросили недорогого вина. Под общий хохот стали спорить, что Танька никогда не поцелует робкого Сеню. Наконец парочке это надоело, и они ушли.

На бульваре было уже темно.

— Если это случится, — высокопарно шептал Сеня, взяв свою спутницу за руку, то пусть произойдёт перед лицом полотен, осенённых творчеством.

— Да, сейчас они спят, но всё видят. Они видят нас во сне, — с наигранной восторженностью произнесла Танька, подстраиваясь под своего несмелого кавалера.

Они подошли к витрине худсалона. Свет внутри был погашен. Только из глубины зала тускло освещивали позолотой багетные рамы. Сеня уже потянулся к юной сокурснице, полузакрыв глаза от волнения. И вдруг Танька испуганно вскрикнула: «Ай! Там призрак».

Огорчённый Сеня безнадежно спросил: «Где?»

— Смотри, — заворожено прошептала Татьяна. Теперь она не притворялась. На постаменте, где стояла статуэтка, брезжил контур мраморной плясуньи. В свете луны мер-

цали её руки, бледные светлячки стекали с плеч, очерчивая торс, вычлняя из темноты складки платья.

— О-она... д-двигается, — заикаясь, пробормотала девушка.

— Д-да, — эхом подтвердил Сеня. — А к-как это? — он начал было протирать очки.

Но Танька завизжала: «Бежим!»

Перед занятиями девушка рассказала об увиденном преподавателю Александру Роговцеву, а вскоре странная весть дошла до Сафонова.

К вечеру он, сидя с Батищевым у электрорефлектора, которым в аудиториях обогревают обнажённых натурщиков, вздыхал: «Знаешь, Коля, напрасно я продал танцовщицу. Я ей даже названия не успел дать».

— Что поделать, Василь, зато хоть долги пораздаёшь. Да и пора тебе нормальные ботинки купить. Служитель муз, а ходишь, как грузчик.

— Да-да, — рассеянно соглашался Сафонов и, хмурия брови, пытался преодолеть скрытую неудовлетворённость.

— Ну чем тебе помочь? Чем посочувствовать? Коньяку, что ли, предложить? — сетовал сердобольный Николай.

— Хочу сам на этого призрака посмотреть, — вдруг твёрдо и ясно произнёс скульптор.

— Удумал чего: бреду неуспевающей студентки поверить! Эх, милый, фантомы в здешних местах давно не водятся.

На том и разошлись. А через два дня по кулуарам пронёсся слух, что Сафонов запил. Да крепко так. А причиной вроде бы послужил его ночной визит к окнам художалона, где он якобы видел, как танцевал светящийся образ проданной статуэтки.

Добряк Батищев разволновался не на шутку. И собрав свиту из прежних собеседников, отправился в мастерскую

к Сафонову. В комнате стоял затхлый воздух, утыканные окурками недоеденные консервы в банках подпортились. Под ногой звякнула и, отлетев, завертелась волчком пустая бутылка. Батищев резко отдернул шторы. Зрелище Сафонов представлял собой непрезентабельное. Оброс, глаза ввалились. Но губы, плотно сомкнутые в нить, выражали безапелляционную решимость.

— Мы должны пойти в салон и убедиться, настоящий ли призрак. Всё! Уговоры, разговоры бесполезны, — и он наотмашь черкнул по воздуху рукой.

— Да как вы войдёте в этот салон? — хотел было урезонить Роговцев.

— Есть способ, — обрубил Сафонов.

И откуда он знал, что в зале была ещё одна дверь? Сверху задрапированная складками декоративных штор, она была не видна. С обратной стороны к ней можно было подобраться через подвал, ступени к которому начинали спускаться в углу подсобного двора с другой стороны здания. Сводчатый вход был завален ящиками, прошлогодней листвой, дворницкими метлами. И разве только наметанный глаз опытного криминалиста мог бы усмотреть возможность проникнуть отсюда в помещение, где разместилась выставка. О существовании же чёрного хода Сафонов знал с поры, когда работал в Союзе при старом правлении. С тех пор у него в связке и сохранился ключ от всячего замка.

Дверь же за драпировкой в салоне, отсекающей его от подвала, символически запирали согнутый гвоздь. Поручение незаметно отодвинуть его днём было дано услужливому Федуду.

— Вася, одумайся. Ведь поймают, скажут, что воры. Ты пользуешься тем, что я тебя бросить не могу, — жалобно тянул Батищев, спотыкаясь в ночной темноте.

— Ничего, мы свидетелями будем, что ничего вы не возьмёте, — сказал Федул. Роговцев вздохнул, но последовал за своим и без того обескураженным кумиром.

Дверь отворилась почти бесшумно. Четверо мужчин ступили в зал.

— Ну, видишь, нет тут ничего. Пошли, пока греха не сотворили, — прошептал Батищев. И обмер. В углу на высоте груди в лучах лунного света заискрились пылинки, уплотнились в пространстве и на глазах стали отчётливо принимать контур танцовщицы. Он наливался лунным светом и приобретал объём, затрепетало и широкими складками взлетело платье, плавно поднялась устремлённая в пространство изящная рука.

— Святой Боже, — ретировался Батищев. — Прочь отсюда!

Трясущимися от страха пальцами по-деревенски перекрестился Федул.

— Быстро! Быстро уходим, — скомандовал Роговцев, схватил в охапку обомлевшего и оседавшего на дверной косяк Батищева и бросился к выходу, зиявшему в конце подвального коридора.

Но Сафонов не уходил. Он медленно, как лунатик, приближался к парящему в темноте изваянию. Скульптор протянул руки к танцовщице, хотел коснуться её, возможно, что-то сказать. И потерял сознание. Очнулся он от сырой прохлады приморской ночи, на руках Роговцева, который вернулся и вытолкнул скульптора из зала.

Потом все четверо до рассвета сидели в мастерской. Молча. Не глядя друг на друга. Но усталость одолела, и они разошлись.

Весть о том, что Сафонов умер, разнеслась мгновенно через три дня. Его нашли в своей мастерской, где он за-

стыл в той же позе с приподнятыми, словно просящими руками, какими в ночном салоне хотел ещё раз прикоснуться к образу плясуньи. Друзья-скульпторы, будто в укор, таким и запечатлели его барельеф на кладбищенском памятнике.

Между тем в особняке Болгара ничего не знали о произошедшем. Преуспевающий бизнесмен, он приобрёл статуэтку по настоянию жены.

— Санёк, такие бабки выбросил на ветер, — ворчал он, обращаясь к поделщику. — Но ты же знаешь, моя Мариша как упрётся, так легче уступить и скинуть проблему с головы.

— Ладно, Вовчик, не обеднеешь, — успокоил тот. — Считай, чисто откупился от базара этой мраморной цацкой. А теперь идём до гостей.

В тот вечер гуляли с размахом. Кто-то из подвыпивших друганов задел танцовщицу локтем. Она упала и раскололась на четыре части. Супруга было попыталась её склеить, но реставрация не удалась.

Вездесущие студенты разыскали статуэтку в мусорном баке и отдали Роговцеву. Блямба от клея была похожа на слезу, катящуюся по мраморной щеке. Одной руки не хватало. А другая — поднятая, застыла так же, как в последней позе рука её создателя. Такой мраморную фигурку отнесли на кладбище и водрузили на цоколе могилы Сафонова.

Призрак больше не появлялся, и о нём забыли. Федул уехал искать заработок в Польшу. Батищев ушёл на пенсию, стал писать мемуары, и его популярность перешла к Александру Роговцеву. Студенты любили его. А его работы получали прекрасные рецензии на выставках. Но в ду-

ше он знал, что никогда не создаст произведения, равного по силе роковой «Плясунье».

В минуты, когда ему не хватало вдохновения, он шел ночными улицами к бульвару, смотрел в погашенные окна салона, где когда-то на уровне груди восходила в фееричном танце светящаяся женская фигурка. И прохожие удивлялись, чего стоит пожилой человек и пялится в стеклянную темноту. Лишь молодая супружеская пара, прогуливаясь перед сном, поглядывала на своего бывшего учителя и понимала его немой восторг, невысказанную зависть и упрямое желание творить.

ОБ АВТОРЕ

Владислав Китик. Родной город Одесса. Первым ярким впечатлением детства, связанным с морем, было пребывание на борту парусной шхуны «Заря», где работал отец. Его пример определил выбор: я поступил в высшую мореходку и потом несколько лет отдал флоту.

Второй импульс к переменам жизни дала литература. Мама как библиотечкарь по призванию больше, чем по должности, воспитала уважение к книге и привычку искать ответы на многие вопросы в этой кладовой мудрости. На полках стояли авторы, пленявшие воображение, в доме собирались интересные творческие люди, говорившие на «умные» темы. На кухне читались стихи, негромко, со сдерживаемым восторгом. Там, в стороне от соглядатаев, происходило формирование общественного вкуса и объяснение в любви к литературе. До сих пор в папке хранятся листки с перепечатанными стихами Окуджавы, Галича, «Реквием» Ахматовой. Тогда эти вещи были под запретом.

Впоследствии мне и самому захотелось что-то написать такое, что можно читать сбивающимся от волнения голосом и слушать с замиранием сердца.

Однажды дело дошло до необходимости выбирать, какому жизненному направлению отдать предпочтение. Жена сказала: стихи — не обыкновение. Если сейчас произойдет что-то сверхобычное, то социальные проблемы перевесит перо.

...Тогда был туманный вечер. Из сумрака донёлся стук копыт. И фонарь осветил лошадь. Без седока, но под

седлом. У боков серых в яблоках, посверкивая, болтались стремена. Лошадь дошла до перекрёстка, повернула и слилась с ночью, в тумане медленно угасал цокот её подков. Вспомнилось, что и я рожден в год Лошади. Присовокупив к этим символическим совпадениям ещё ряд сопутствующих жизненных обстоятельств, я сошёл на берег.

Размышления, правильным ли было решение оставить флот, ещё не раз посещали в часы уединения. Одновременно приходилось задаваться вопросом, для чего нужно писать, если и так столько написано произведений гениальных, провидческих, просто много «хорошего и разного». Только всё это было до меня, но — не вместо меня. Вместо себя я могу сказать только сам...

Так непроизвольно у меня сложился довольно типичный путь молодого советского литератора: был мастером, слесарем на судоремонтном заводе, кочегаром на угле, преподавателем. Попутно закончил филфак и тридцать лет посвятил журналистской деятельности.

Выпустил шесть стихотворных сборников, стал дипломантом конкурса им. М. Кириенко-Волошина, лауреатом Муниципальной премии им. К. Паустовского. Стихи публиковались в журналах, альманахах, интернет-изданиях.

Теперь Бог сподобил на прозу. Рассказы писались как вид разрядки в свободное от стихов время. Но не отменяли необходимость самовыражения. Написанные, они живут своей жизнью. А мне остается время. И место — Одесса, которую я не хочу покидать. В частности, и потому, что по ощущениям только здесь могу осуществить задачу писателя: писать.

СОДЕРЖАНИЕ

Кот спускается с небес. <i>Рассказ</i>	5
Сказание о голубятне. <i>Рассказ</i>	10
Негласный законник. <i>Рассказ</i>	16
Поздняя Пасха. <i>Рассказ</i>	21
Розыгрыш. <i>Рассказ</i>	27
Лахудра питерская. <i>Рассказ</i>	35
Cogito ergo sum. <i>Рассказ</i>	41
Я скажу тебе... <i>Рассказ</i>	45
Быть мастером... <i>Рассказ</i>	50
Расскажи! Расскажи, бродяга... <i>Рассказ</i>	54
Выйти замуж за мента? <i>Рассказ</i>	61
Мраморная плясунья. <i>Повесть</i>	70
Об авторе	81

«Голубині дворики» – перша книга прози одеського автора Владислава Кітіка. До неї включено 11 оповідань та одна невелика повість. В основу покладено спогади, почуті від інших історії, ситуативні події різних періодів часу та, звичайно, життєвий досвід автора. А також ракурси його спостережень та світогляд, загострений на питаннях людських відносин. Виділення в природі спілкування таких сторін, як людяність, приязнь, любов до ближнього, становить головне завдання книги. Тільки у цій сфері можна дійти того рівноважного стану, який люди називають щастям.

Літературно-художнє видання

КІТІК

Владислав Адріанович

ГОЛУБІНІ ДВОРИКИ

Проза

Завідувачка редакції *Т. М. Забанова*
Технічний редактор *Т. В. Іванова*

Формат 60×84/16. Ум. друк. арк. 4,88.
Тираж 4 прим. Зам. № 478 (37).

Видавництво і друкарня «Астропринт»
Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 1373 від 28.05.2003 р.
65091, м. Одеса, вул. Разумовська, 21
Тел.: (0482) 37-14-25, 33-07-17, (048) 7-855-855
e-mail: astro_print@ukr.net
www.astroprint.ua, www.stranichka.in.ua